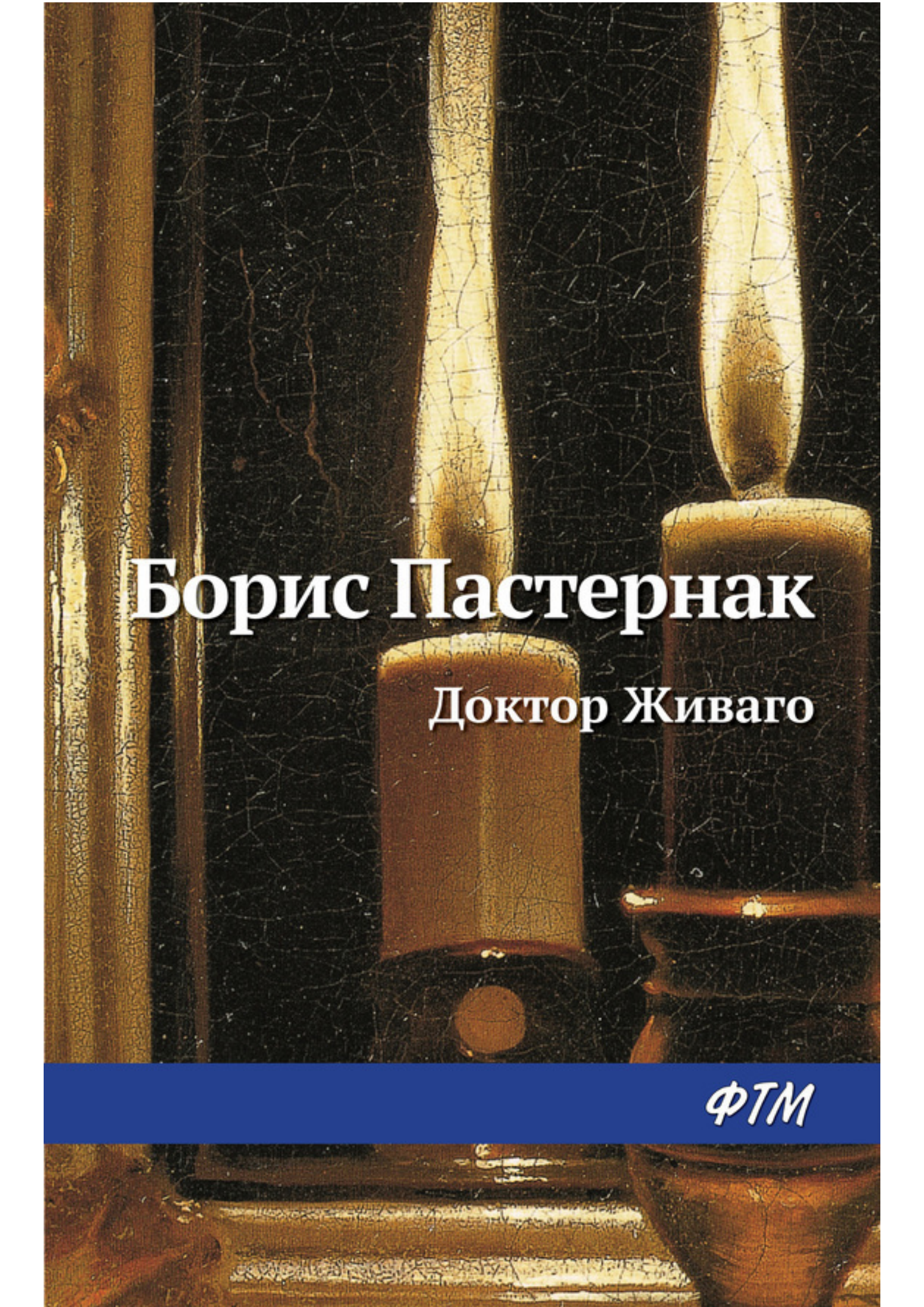


The background of the cover is a detailed painting of three lit candles. The candles are of different heights and are placed in dark, possibly metal, holders. The light from the candles illuminates the surrounding dark, textured surface, which appears to be a wall or a large piece of furniture. The overall mood is warm and intimate.

Борис Пастернак

Доктор Живаго

ФТМ

Борис Пастернак
Доктор Живаго

«ФТМ»
1945-1955

Пастернак Б. Л.

Доктор Живаго / Б. Л. Пастернак — «ФТМ», 1945-1955

«Доктор Живаго» – итоговое произведение Бориса Пастернака, книга всей его жизни. Этот роман принес его автору мировую известность и Нобелевскую премию, присуждение которой обернулось для поэта оголтелой политической травлей, обвинениями в «измене Родине» и в результате стоило ему жизни. «Доктор Живаго» – роман, сама ткань которого убедительнее свидетельствует о чуде, чем все размышления доктора и обобщения автора. Человек, который так пишет, бесконечно много пережил и передумал, и главные его чувства на свете – восхищенное умиление и слезное сострадание; конечно, есть в его мире место и презрению, и холодному отстранению – но не в них суть. Роман Пастернака – оплакивание прежних заблуждений и их жертв; те, кто не разделяет молитвенного восторга перед миром, достойны прежде всего жалости. Перечитывать «Доктора Живаго» стоит именно тогда, когда кажется, что жить не стоит. Тогда десять строк из этого романа могут сделать то же, что делает любовь в одном из стихотворений доктора: «Жизнь вернулась так же беспричинно, как когда-то странно прервалась».

© Пастернак Б. Л., 1945-1955

© ФТМ, 1945-1955

Содержание

И дышат почва и судьба	6
Первая книга	11
Часть первая	11
1	11
2	11
3	12
4	12
5	14
6	15
7	16
8	19
Часть вторая	22
1	22
2	22
3	23
4	24
5	25
6	26
7	28
8	30
9	32
10	33
11	35
12	36
13	36
14	37
15	37
16	38
17	38
18	39
19	39
20	41
21	43
Часть третья	47
1	47
2	47
3	49
4	50
5	52
6	52
7	53
8	55
9	56
10	56
11	57
12	58

13	59
14	59
15	60
16	61
17	62
Часть четвертая	64
1	64
2	65
3	66
4	67
5	69
6	72
7	74
8	75
9	76
10	78
11	80
12	80
13	82
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Борис Пастернак Доктор Живаго

И дышат почва и судьба

Спустя два года после завершения романа «Доктор Живаго» Борис Пастернак писал:

«Я думаю, несмотря на привычность всего того, что продолжает стоять перед нашими глазами и что мы продолжаем слышать и читать, ничего этого больше нет, это уже прошло и состоялось, огромный, неслыханных сил стоивший период закончился и миновал. Освободилось безмерно большое, покамест пустое и не занятое место для нового и еще не бывалого, для того, что будет угадано чьей-либо гениальной независимостью и свежестью, для того, что внушит и подскажет жизнь новых чисел и дней. Сейчас мукою художников будет не то, признаны ли они и признаны ли будут застаивающейся, запоздалой политической современностью или властью, но неспособность совершенно оторваться от понятий, ставших привычными, забыть навязывающиеся навыки, нарушить непрерывность. Надо понять, что все стало прошлым, что конец виденного и пережитого был уже, а не еще предстоит.

Надо отказаться от мысли, что все будет продолжать объявляться перед тем, как начинать существовать, и допустить возможность того времени, когда все опять будет двигаться и изменяться без предварительного объявления. Эта трудность есть и для меня. «Живаго» – это очень важный шаг, это большое счастье и удача, какие мне даже не снились. Но это сделано, и вместе с периодом, который эта книга выражает больше всего, написанного другими, книга эта и ее автор уходят в прошлое, и передо мною, еще живым, освобождается пространство, неиспользованность и чистоту которого надо сначала понять, а потом этим понятым наполнить».

Автору этих строк за те два года, что, по воле Божьей, ему осталось прожить на свете, не пришлось выполнить сформулированную им новую задачу. Удивительно другое – его творчество, и в особенности «Доктор Живаго», продолжают и в новых условиях оставаться величайшим художественным свидетельством не только ушедшего в прошлое образа жизни и уничтожения нескольких поколений незаурядно мыслящих людей, но и верного пути освобождения от последствий этого периода господства гнета и ненависти.

Крайние проявления неограниченной свободы в наше время чем-то напоминают предвоенные годы начала века, описанные в первых главах «Доктора Живаго», но при этом мы полностью лишены той нравственной и материальной основы, которая их тогда питала и сдерживала. Огромное богатство, накопленное в России к тому времени, растрчено, разграблено и пущено по ветру. Уничтожено царство исторической необходимости и преемственности.

Духовные завоевания всегда приобретались ценою недоступных здоровой оценке трагедий и жертв. Начало истории христианства в этом смысле напрашивается в сравнение с событиями XX века. Мировая война, фарисейски развязанная государствами Европы якобы в защиту малых народностей, стала началом разрушения, поставившего человечество перед перспективой всеобщей гибели. В ходе этих лет немногим удалось остаться верными жизненноутверждающим положениям своей юности в их свободном и естественном развитии.

Таков творчески одаренный Юрий Андреевич Живаго, в силу своего таланта знающий, что «единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас». Этим он не может поступиться и, не отказываясь от профессиональной врачебной, научной и литературной работы, тем не менее постепенно теряет возможность производительной, самостоятельной деятельности. Его друзья и сверстники приспособляются, изменяются и гордятся тем, что им удалось сохранить внешнюю интеллигентность и устоять. А он постепенно опускается, страдает, упрекая себя в безволии, болеет и рано умирает.

Для окружающих он попусту растративший себя и общественно лишний человек. «Не выдался, – говорит о нем дворник Маркел. – Сколько на тебя денег извели! Учился, учился, а труды прахом пошли». Он же, не кривя душой и не теряя ясности восприятия, видит страшную цену того духовного извращения, которую платят его поработанные современники. Именно в этом смысле надо понимать фразу: «Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас – это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали».

Эта точная констатация разницы между творчески свободным художником и человеком, который идеализирует свою неволю, вызвала в свое время обиду многих и в значительной мере обусловила тридцатилетний запрет, наложенный на печатание романа на родине. Но в то же самое время целое поколение будущих диссидентов читало «Доктора Живаго» в запрещенных списках и иностранных изданиях, воспитывалось на нем и находило в нем жизненную опору.

В «Докторе Живаго» сильнее всего живописное (пластическое) и музыкальное (композиционное) начало. Даже в философских темах, которые Пастернаку хочется высказать с достаточной конкретностью, он не доходит до однозначности публицистического или проповеднического детерминизма. Его цель в том, чтобы дать читателю самому увидеть и продумать картины преображенной действительности. Так он дополняет вероятностную трактовку хода истории, данную у Льва Толстого, наблюдениями над природой, утверждая, что существование человечества еще не утратило своих живых возможностей, что оно, к нашей радости, осталось таким же непредсказуемым и неожиданным, как жизнь леса.

Пастернак пишет, что «история то, что называется ходом истории», Юрию Андреевичу история виделась подобием «растительного царства»:

«Зимою под снегом оголенные прутья лиственного леса тощи и жалки, как волоски на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преображается, подымается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно затеряться, спрятаться. Это превращение достигается движением, по стремительности превосходящим движения животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменою места. Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвижности застигаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся, неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю.

Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полководцами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всюю ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет».

Русская революция представлялась Пастернаку главным событием века, экспериментальной проверкой социальных утопий прошлого. Его интересовали ее нравственные основы – ответ жизни на накладываемые ограничения, восстание как реакция на попра-

ные красоту и достоинство человека. Вначале она виделась ему возмездием за извращение способности любить, восхищаясь Божьим замыслом, плодотворно и самостоятельно в нем участвовать.

При этом Пастернак с самого начала решительно осуждал политическое фарисейство, насилие и ненависть, пришедшие на смену общественным надеждам.

В лирическом сюжетном плане эти представления проявляются в отношениях Юрия Живаго, Ларисы Антиповой и Павла Антипова-Стрельникова. Юрий Андреевич подчиняется любви как высшему началу, для него это стремление сделать человека счастливым, ничего ему не навязывая, расплачиваясь ценою собственных потерь и лишений, неизбежных и обусловленных жизнью. Понимание своих возможностей перед ее лицом кладет предел его активности. Его кажущееся безволие – следствие трезвой оценки художника, свидетеля, исследователя и, наконец, врача, который должен правильно поставить диагноз и, если возможно, вылечить, то есть помочь жизни справиться с болезнью. Его творческая воля – талант, как «детская модель вселенной, заложенная с малых лет» в сердце, делает его неспособным к насильственным проявлениям, которые независимо от цели ведут к извращению и гибели. Подчиненностью воле жизненных обстоятельств объясняются бесчисленные лишения, выпавшие на его долю, потеря дома, семьи, Лары. Хотя Комаровский виноват не только в искалеченной судьбе Ларисы, но и в его собственном разорении и сиротстве, Живаго сразу теряет способность отстаивать любимую женщину, лишь только она по своей воле встает на сторону чуждой подчиняющей силы.

«Личная заинтересованность побуждает его быть гордым и стремиться к правде. Эта выгодная и счастливейшая позиция в жизни может быть и трагедией, это второстепенно», – писал Пастернак, характеризуя свойства таланта.

Единственный волевой поступок Юрия Андреевича, его рискованный побег из партизанского лагеря, побег к Ларе, освобождение из плена, оказывается возможен благодаря благоприятному стечению обстоятельств. Жизнь и природа покровительствуют им и строят их любовь. «Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака, деревья... Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее наслаждение общей лепкой мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной»...

О большой прозе Пастернак мечтал в течение всей жизни, но попытки, предпринимаемые им ранее, затягиваясь на годы, оставались неоконченными. Отрывки, публиковавшиеся в газетах и журналах 1930-х годов, передавали картины и бытовые зарисовки дореволюционных лет России. Но автора мучило и останавливало в работе отсутствие «единства в понимании вещей». Такое понимание пришло в конце войны, когда возникло отчетливое ощущение присутствия Божия в историческом существовании России. Оно пришло, когда не сломленный годами террора народ нашел в себе силы противостоять злу фашистской чумы и ценой огромных потерь, несравнимых даже с немецкими, одержать победу в Отечественной войне.

Ты значил все в моей судьбе.
Потом пришла война, разруха,
И долго-долго о Тебе
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет
Твой голос вновь меня встревожил.
Всю ночь читал я Твой завет

И как от обморока ожил.

Мне к людям хочется, в толпу,
В их утреннее оживленье.
Я все готов разнести в щепу
И всех поставить на колени...

Во времена самого тяжелого гнета Пастернак был уверен, что изменения к лучшему непременно начнутся с духовного пробуждения общества.

«Если Богу угодно будет и я не ошибаюсь, – писал он летом 1944 года, – в России скоро будет яркая жизнь, захватывающе новый век и еще раньше, до наступления этого благополучия в частной жизни и обиходе, – поразительно огромное, как при Толстом и Гоголе, искусство. Предчувствие этого заслоняет мне все остальное: неблагополучие и убожество моего личного быта и моей семьи, лицо нынешней действительности, домов и улиц, разочаровывающую противоположность общего тона печати и политики и пр. и пр. Предчувствием этим я связан с этим будущим, не замечаю за ним невзгод и старости и с некоторого времени служу ему каждой своей мыслью, каждым делом и движением».

Пробудившиеся после победы в войне надежды на либерализацию общества укрепили Пастернака в его замысле и дали силу приступить к работе, которую он считал своим пожизненным долгом. Несмотря на то, что этим веяниям скоро был положен конец, намерение писать роман стало внутренней необходимостью.

«Доктор Живаго» был начат в декабре 1945 года, последние изменения в его текст были внесены в декабре 1955-го.

Сознание неотвратимости крестного пути как залога бессмертия выражено в стихотворении «Гамлет», открывающем тетрадь Юрия Живаго:

Гул затих. Я вышел на подмости.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Первоначальный план романа был с самого начала уже совершенно оформлен, и Пастернак рассчитывал быстро его написать.

«Собственно, это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского, – эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое...

Атмосфера вещи – мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным», – писал Пастернак в октябре 1946 года.

«Смерти не будет» – первое название романа в карандашной рукописи 1946 года. Здесь же эпиграф из Откровения Иоанна Богослова: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопль, ни болезни уже не будет, ибо прежнее пошло». Трактровка

этих слов дается в романе в сцене у постели умирающей Анны Ивановны Громеко. Бессмертие души для Живаго – следствие деятельной любви к ближнему: «Человек в других людях и есть душа человека».

Рисуя время своей молодости и молодости тех «мальчиков и девочек», которые составили славу русского религиозно-философского возрождения, Пастернак определял его духовную атмосферу как смесь идей Достоевского, Соловьева, Толстого, социализма и новейшей поэзии, что, вполне уживаясь вместе, составляло «новую, необычайно свежую фазу христианства».

Надежды этого поколения были сметены исторической бурей, на смену которой пришло новое язычество «оспою нарытых Калигул» (портрет Сталина), не подозревавших, «как бездарен всякий поработитель». Простота и правда явления Христа противопоставлены помпезности сталинского стиля вампир.

Автор рисует, как в мир «мраморной и золотой безвкусицы» (это не о Древнем Риме, а о нашей современности!) входит «легкий и одетый в сияние» Христос, «намеренно провинциальный, галилейский», и мир начинается заново: «Народы и боги прекратились, и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек – пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира».

Стихотворения Юрия Живаго составляют заключительную главу романа. Создавая их от имени своего героя, Пастернак обрел новую свободу и глубину лирического самовыражения. Они освобождены от биографической узости и свойственной ранней поэзии Пастернака нагнетенной метафоричности, тем самым становясь отражением обобщенного опыта поколения. Пастернак писал, что Юрий Живаго «должен будет представлять нечто среднее между мной, Блоком, Есениным и Маяковским». Это позволило значительно расширить круг тем, что в первую очередь относится к стихотворениям евангельского цикла, написанным с точки зрения прямого свидетеля событий Священной истории.

Роман «Доктор Живаго» лишен каких-либо дидактических тенденций, что помогло ему найти благодарный отклик в душах людей, на что надеялся его автор, когда писал: «Отличие современной советской литературы от всей предшествующей кажется мне более всего в том, что она утверждена на прочных основаниях, независимо от того, читают ее или не читают. Это – гордое, покоящееся в себе и самодовлеющее явление, разделяющее с прочими государственными установлениями их незыблемость и непогрешимость».

Но настоящему искусству, в моем понимании, далеко до таких притязаний. Где ему повелевать и предписывать, когда слабостей и грехов на нем больше, чем добродетелей. Оно робко желает быть мечтою читателя, предметом читательской жажды и нуждается в его отзывчивом воображении не как в дружелюбной снисходительности, а как в составном элементе, без которого не может обойтись построение художника, как нуждается луч в отражающей поверхности или в преломляющей среде, чтобы играть и загораться».

Надежды автора оправдались. Картинами полувекового обихода называл Пастернак свой роман о докторе Живаго. По прошествии второй половины века и на рубеже нового он продолжает волновать читателей и находить живой отклик в их душах.

Евгений Пастернак

Первая книга

Часть первая Пятичасовой скорый

1

Шли и шли и пели «Вечную память», и, когда останавливались, казалось, что ее по-залаженному продолжают петь ноги, лошади, дуновения ветра.

Прохожие пропускали шествие, считали венки, крестились. Любопытные входили в процессию, спрашивали:

«Кого хоронят?» Им отвечали: «Живаго». – «Вот оно что. Тогда понятно». – «Да не его. Ее». – «Все равно. Царствие небесное. Похороны богатые».

Замелькали последние минуты, считанные, бесповоротные. «Господня земля и исполнение ея, вселенная и вси живущие на ней». Священник крестьящим движением бросил горсть земли на Марью Николаевну. Запели «Со духи праведных». Началась страшная гонка. Гроб закрыли, заколотили, стали опускать. Отбарабанил дождь комьев, которыми торопливо в четыре лопаты забросали могилу. На ней вырос холмик. На него взошел десятилетний мальчик.

Только в состоянии отупения и бесчувственности, обыкновенно наступающих к концу больших похорон, могло показаться, что мальчик хочет сказать слово на материнской могиле.

Он поднял голову и окинул с возвышения осенние пустыри и главы монастыря отсутствующим взглядом. Его курносое лицо исказилось. Шея его вытянулась. Если бы таким движением поднял голову волчонок, было бы ясно, что он сейчас завоюет. Закрыв лицо руками, мальчик зарыдал. Летевшее навстречу облако стало хлестать его по рукам и лицу мокрыми плетями холодного ливня. К могиле прошел человек в черном, со сборками на узких облегающих рукавах. Это был брат покойной и дядя плакавшего мальчика, расстриженный по собственному прошению священник Николай Николаевич Веденяпин. Он подошел к мальчику и увел его с кладбища.

2

Они ночевали в одном из монастырских покоев, который отвели дяде по старому знакомству. Был канун Покрова. На другой день они с дядей должны были уехать далеко на юг, в один из губернских городов Поволжья, где отец Николай служил в издательстве, выпускавшем прогрессивную газету края. Билеты на поезд были куплены, вещи увязаны и стояли в келье. С вокзала по соседству ветер приносил плаксивые пересвистывания маневрировавших вдали паровозов.

К вечеру сильно похолодало. Два окна на уровне земли выходили на уголок невзрачного огорода, обсаженного кустами желтой акации, на мерзлые лужи проезжей дороги и на тот конец кладбища, где днем похоронили Марию Николаевну. Огород пустовал, кроме нескольких муаровых гряд посиневшей от холода капусты. Когда налетал ветер, кусты облетелой акации металась как бесноватые, и ложились на дорогу.

Ночью Юру разбудил стук в окно. Темная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом. Юра в одной рубашке подбежал к окну и прижался лицом к холодному стеклу.

За окном не было ни дороги, ни кладбища, ни огорода. На дворе бушевала вьюга, воздух дымился снегом. Можно было подумать, будто буря заметила Юру и, сознавая, как она страшна, наслаждается производимым на него впечатлением. Она свистела и завывала и всеми способами старалась привлечь Юрино внимание. С неба оборот за оборотом бесконечными мотками падала на землю белая ткань, обвивая ее погребальными пеленами. Вьюга была одна на свете, ничто с ней не соперничало.

Первым движением Юры, когда он слез с подоконника, было желание одеться и бежать на улицу, чтобы что-то предпринять. То его пугало, что монастырскую капусту занесет и ее не откапывают, то, что в поле заметет маму и она бессильна будет оказать сопротивление тому, что уйдет еще глубже и дальше от него в землю.

Дело опять кончилось слезами. Проснулся дядя, говорил ему о Христе и утешал его, а потом зевал, подходил к окну и задумывался. Они начали одеваться. Стало светать.

3

Пока жива была мать, Юра не знал, что отец давно бросил их, ездит по разным городам Сибири и заграницы, кутит и распутничает и что он давно просадил и развеял по ветру их миллионное состояние. Юре всегда говорили, что он то в Петербурге, то на какой-нибудь ярмарке, чаще всего на Ирбитской.

А потом у матери, всегда болевшей, открылась чахотка. Она стала ездить лечиться на юг Франции и в Северную Италию, куда Юра ее два раза сопровождал. Так, в беспорядке и среди постоянных загадок, прошла детская жизнь Юры, часто на руках у чужих, которые все время менялись. Он привык к этим переменам, и в обстановке вечной нескладницы отсутствие отца не удивляло его.

Маленьким мальчиком он застал еще то время, когда именем, которое он носил, называлось множество саморазличнейших вещей. Была мануфактура Живаго, банк Живаго, дома Живаго, способ завязывания и закалывания галстука булавкою Живаго, даже какой-то сладкий пирог круглой формы, вроде ромовой бабы, под названием Живаго, и одно время в Москве можно было крикнуть извозчику «к Живаго!», совершенно как «к черту на кулички!», и он уносил вас на санках в тридесатое царство, в тридевятое государство. Тихий парк обступал вас. На свисающие ветви елей, осыпая с них иней, садились вороны. Разносились их карканье, раскатистое, как треск древесного сука. С новостроек за просекой через дорогу перебегали породистые собаки. Там зажигали огни. Спускался вечер.

Вдруг все это разлетелось. Они обеднели.

4

Летом тысяча девятьсот третьего года на тарантасе парой Юра с дядей ехали по полям в Дуплянку, имение шелкопрядильного фабриканта и большого покровителя искусств Кологривова, к педагогу и популяризатору полезных знаний Ивану Ивановичу Воскобойникову.

Была Казанская, разгар жатвы. По причине обедненного времени или по случаю праздника в полях не попадалось ни души. Солнце палило недожатые полосы, как полуобритые арестантские затылки. Над полями кружились птицы. Склонив колосья, пшеница тянулась в струнку среди совершенного безветрия или высилась в крестцах далеко от дороги, где при долгом вглядывании принимала вид движущихся фигур, словно это ходили по краю горизонта землемеры и что-то записывали.

– А эти, – спрашивал Николай Николаевич Павла, чернорабочего и сторожа из книгоиздательства, сидевшего на козлах боком, сутуло и перекинув ногу за ногу, в знак того, что он не заправский кучер и правит не по призванию, – а это как же, помещиковы или крестьянские?

– Энти господсти, – отвечал Павел и закуривал, – а вот эфти, – отвозившись с огнем и затянувшись, тыкал он после долгой паузы концом кнутовища в другую сторону, – эфти свои. Ай заснули? – то и дело прикрикивал он на лошадей, на хвосты и крупы которых он все время косился, как машинист на манометры.

Но лошади везли, как все лошади на свете, то есть коренник бежал с прирожденной прямокой бесхитростной натуры, а пристяжная казалась непонимающему отъявленной бездельницей, которая только и знала, что, выгнувшись лебедью, отплясывала вприсядку под брenchание бубенчиков, которое сама своими скачками подымала.

Николай Николаевич вез Воскобойникову корректуру его книжки по земельному вопросу, которую ввиду усилившегося цензурного нажима издательство просило пересмотреть.

– Шалит народ в уезде, – говорил Николай Николаевич. – В Паньковской волости купца зарезали, у земского сожгли конный завод. Ты как об этом думаешь? Что у вас говорят в деревне?

Но оказывалось, что Павел смотрит на вещи еще мрачнее, чем даже цензор, умерявший аграрные страсти Воскобойникова.

– Да что говорят? Распустили народ. Баловство, говорят. С нашим братом нешто возможно? Мужику дай волю, так ведь у нас друг дружку передавят, истинный Господь. Ай заснули?

Это была вторая поездка дяди и племянника в Дуплянку. Юра думал, что он запомнил дорогу, и всякий раз, как поля разбегались вширь и их тоненькой каемкой охватывали спереди и сзади леса, Юре казалось, что он узнает то место, с которого дорога должна повернуть вправо, а с поворота показаться и через минуту скрыться десятиверстная кологривовская панорама с блещущей вдали рекой и пробегающей за ней железной дорогой. Но он все обманывался. Поля сменялись полями. Их вновь и вновь охватывали леса. Смена этих просторов настраивала на широкий лад. Хотелось мечтать и думать о будущем.

Ни одна из книг, прославивших впоследствии Николая Николаевича, не была еще написана. Но мысли его уже определились. Он не знал, как близко его время.

Скоро среди представителей тогдашней литературы, профессоров университета и философов революции должен был появиться этот человек, который думал на все их темы и у которого, кроме терминологии, не было с ними ничего общего. Все они скопом держались какой-нибудь догмы и довольствовались словами и видимостями, а отец Николай был священник, прошедший толстовство и революцию и шедший все время дальше. Он жаждал мысли, окрыленно вещественной, которая прочерчивала бы нелицемерно различимый путь в своем движении и что-то меняла на свете к лучшему и которая даже ребенку и невежде была бы заметна, как вспышка молнии или след прокатившегося грома. Он жаждал нового.

Юре хорошо было с дядей. Он был похож на маму. Подобно ей, он был человеком свободным, лишенным предубеждения против чего бы то ни было непривычного. Как у нее, у него было дворянское чувство равенства со всем живущим. Он так же, как она, понимал все с первого взгляда и умел выражать мысли в той форме, в какой они приходят в голову в первую минуту, пока они живы и не обессмыслятся.

Юра был рад, что дядя взял его в Дуплянку. Там было очень красиво, и живописность места тоже напоминала маму, которая любила природу и часто брала Юру с собой на прогулки. Кроме того, Юре было приятно, что он опять встретится с Никой Дудоровым, гимназистом, жившим у Воскобойникова, который, наверное, презирал его, потому что был года

на два старше его, и который, здороваясь, с силой дергал руку книзу и так низко наклонял голову, что волосы падали ему на лоб, закрывая лицо до половины.

5

– Жизненным нервом проблемы пауперизма, – читал Николай Николаевич по исправленной рукописи.

– Я думаю, лучше сказать – существом, – говорил Иван Иванович и вносил в корректуру требующееся исправление.

Они занимались в полутьме стеклянной террасы. Глаз различал валявшиеся в беспорядке лейки и садовые инструменты. На спинку поломанного стула был наброшен дождевой плащ. В углу стояли болотные сапоги с присохшей грязью и отвисающими до полу голенищами.

– Между тем статистика смертей и рождений показывает, – диктовал Николай Николаевич.

– Надо вставить: за отчетный год, – говорил Иван Иванович и записывал.

Террасу слегка проскваживало. На листах брошюры лежали куски гранита, чтобы они не разлетелись.

Когда они кончили, Николай Николаевич заторопился домой.

– Гроза надвигается. Надо собираться.

– И не думайте. Не пушу. Сейчас будем чай пить.

– Мне к вечеру надо обязательно в город.

– Ничего не поможет. Слышать не хочу.

Из палисадника тянуло самоварной гарью, заглушавшей запах табака и гелиотропа. Туда проносили из флигеля каймак, ягоды и ватрушки. Вдруг пришло сведенье, что Павел отправился купаться и повел купать на реку лошадей. Николаю Николаевичу пришлось покориться.

– Пойдемте на обрыв, посидим на лавочке, пока накроют к чаю, – предложил Иван Иванович.

Иван Иванович на правах приятельства занимал у богача Кологривова две комнаты во флигеле управляющего. Этот домик с примыкающим к нему палисадником находился в черной, запущенной части парка со старой полукруглою аллеей въезда. Аллея густо заросла травой. По ней теперь не было движения, и только возили землю и строительный мусор в овраг, служивший местом сухих свалок. Человек передовых взглядов и миллионер, сочувствовавший революции, сам Кологривов с женою находился в настоящее время за границей. В имении жили только его дочери Надя и Липа с воспитательницей и небольшим штатом прислуги.

Ото всего парка с его прудами, лужайками и барским домом садик управляющего был отгорожен густой живой изгородью из черной калины. Иван Иванович и Николай Николаевич обходили эту заросль снаружи, и по мере того как они шли, перед ними равными стайками на равных промежутках вылетали воробьи, которыми кишела калина. Это наполняло ее ровным шумом, точно перед Иваном Ивановичем и Николаем Николаевичем вдоль изгороди текла вода по трубе.

Они прошли мимо оранжереи, квартиры садовника и каменных развалин неизвестного назначения. У них зашел разговор о новых молодых силах в науке и литературе.

– Попадаются люди с талантом, – говорил Николай Николаевич. – Но сейчас очень в ходу разные кружки и объединения. Всякая стадность – прибежище неодаренности, все равно верность ли это Соловьеву, или Канту, или Марксу. Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно. Есть ли что-нибудь на свете, что заслужи-

вало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю, надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу! Ах, вы морщитесь, несчастный. Опять вы ничегошеньки не поняли.

– Мда, – мычал Иван Иванович, тонкий белокурый вьюн с ехидною бородкой, делавшей его похожим на американца времен Линкольна (он поминутно захватывал ее в горсть и ловил ее кончик губами). – Я, конечно, молчу. Вы сами понимаете – я смотрю на эти вещи совершенно иначе. Да, кстати. Расскажите, как вас расстригали. Я давно хотел спросить. Небось перетрухнули? Анафеме вас предавали? А?

– Зачем отвлекаться в сторону? Хотя, впрочем, что ж. Анафеме? Нет, сейчас не проклинают. Были неприятности, имеются последствия. Например, долго нельзя на государственную службу. Не пускают в столицы. Но это ерунда. Вернемся к предмету разговора. Я сказал – надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения, и затем это главные составные части современного человека, без которых он немислим, а именно идея свободной личности и идея жизни как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких, оспую изрытых Калигул, не подозревавших, как бездарен всякий поработоритель. Там была хвастливая мертвая вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме. Уф, аж взопрел, что называется. А ему хоть кол теши на голове!

– Метафизика, батенька. Это мне доктора запретили, этого мой желудок не варит.

– Ну да бог с вами. Бросим. Счастливцев! Вид-то от вас какой – не налюбуетесь! А он живет и не чувствует.

На реку было больно смотреть. Она отливала на солнце, вгибаясь и выгибаясь, как лист железа. Вдруг она пошла складками. С этого берега на тот поплыл тяжелый паром с лошадьми, телегами, бабами и мужиками.

– Подумайте, только шестой час, – сказал Иван Иванович. – Видите, скорый из Сызрани. Он тут проходит в пять с минутами.

Вдали по равнине справа налево катился чистенький желто-синий поезд, сильно уменьшенный расстоянием. Вдруг они заметили, что он остановился. Над паровозом взвились белые клубочки пара. Немного спустя пришли его тревожные свистки.

– Странно, – сказал Воскобойников. – Что-нибудь неладное. Ему нет причины останавливаться там на болоте. Что-то случилось. Пойдемте чай пить.

6

Ники не оказалось ни в саду, ни в доме. Юра догадывался, что он прячется от них, потому что ему скучно с ними и Юра ему не пара. Дядя с Иваном Ивановичем пошли заниматься на террасу, предоставив Юре слоняться без цели вокруг дома.

Здесь была удивительная прелесть! Каждую минуту слышался чистый трехтонный высвист иволги, с промежутками выжидания, чтобы влажный, как из дудки извлеченный звук до конца пропитал окрестность. Стоячий, заблудившийся в воздухе запах цветов пригвожден был зноем неподвижно к клумбам. Как это напоминало Антибы и Бордигеру! Юра поминутно поворачивался направо и налево. Над лужайками слуховой галлюцинацией висел призрак маминого голоса, он звучал Юре в мелодических оборотах птиц и жужжании пчел. Юра вздрагивал, ему то и дело мерещилось, будто мать аукается с ним и куда-то его подзывает.

Он пошел к оврагу и стал спускаться. Он спустился из редкого и чистого леса, покрывавшего верх оврага, в ольшаник, выстилавший его дно.

Здесь была сырая тьма, бурелом и падаль, было мало цветов и членистые стебли хвоща были похожи на жезлы и посохи с египетским орнаментом, как в его иллюстрированном Священном писании.

Юре становилось все грустнее. Ему хотелось плакать. Он повалился на колени и залился слезами.

– Ангеле Божий, хранителю мой святой, – молился Юра, – утверди ум мой во истинном пути и скажи мамочке, что мне здесь хорошо, чтобы она не беспокоилась. Если есть загробная жизнь, Господи, учини мамочку в раи, идеже лица святых и праведницы сияют яко светила. Мамочка была такая хорошая, не может быть, чтобы она была грешница, помилуй ее, Господи, сделай, чтобы она не мучилась. Мамочка! – в душераздирающей тоске звал он ее с неба, как новопритченную угодницу, и вдруг не выдержал, упал наземь и потерял сознание.

Он не долго лежал без памяти. Когда очнулся, он услышал, что дядя зовет его сверху. Он ответил и стал подыматься. Вдруг он вспомнил, что не помолился о своем без вести пропадающем отце, как учила его Мария Николаевна.

Но ему было так хорошо после обморока, что он не хотел расставаться с этим чувством легкости и боялся потерять его. И он подумал, что ничего страшного не будет, если он помолится об отце как-нибудь в другой раз.

– Подождет. Потерпит, – как бы подумал он. Юра его совсем не помнил.

7

В поезде в купе второго класса ехал со своим отцом, присяжным поверенным Гордоном из Оренбурга, гимназист второго класса Миша Гордон, одиннадцатилетний мальчик с задумчивым лицом и большими черными глазами. Отец переезжал на службу в Москву, мальчик переводился в московскую гимназию. Мать с сестрами были давно на месте, занятые хлопотами по устройству квартиры.

Мальчик с отцом третий день находился в поезде.

Мимо в облаках горячей пыли, выбеленная солнцем, как известью, летела Россия, поля и степи, города и села. По дорогам тянулись обозы, грузно сворачивая с дороги к переездам, и с бешено несущегося поезда казалось, что возы стоят не двигаясь, а лошади поднимают и опускают ноги на одном месте.

На больших остановках пассажиры как угорелые бегом бросались в буфет, и садящееся солнце из-за деревьев станционного сада освещало их ноги и светило под колеса вагонов.

Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что все проис-

ходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь.

Из этого правила мальчик был горьким и тяжелым исключением. Его конечною пружиной оставалось чувство озабоченности, и чувство беспечности не облегчало и не облагораживало его. Он знал за собой эту унаследованную черту и с мнительной настороженностью ловил в себе ее признаки. Она огорчала его. Ее присутствие его унижало.

С тех пор как он себя помнил, он не переставал удивляться, как это при одинаковости рук и ног и общности языка и привычек можно быть не тем, что все, и притом чем-то таким, что нравится немногим и чего не любят? Он не мог понять положения, при котором, если ты хуже других, ты не можешь приложить усилий, чтобы исправиться и стать лучше. Что значит быть евреем? Для чего это существует? Чем вознаграждается или оправдывается этот безоружный вызов, ничего не приносящий, кроме горя?

Когда он обращался за ответом к отцу, тот говорил, что его исходные точки нелепы и так рассуждать нельзя, но не предлагал взамен ничего такого, что привлекло бы Мишу глубиной смысла и обязало бы его молча склониться перед неотменимым.

И, делая исключение для отца и матери, Миша постепенно преисполнился презрением к взрослым, заварившим кашу, которой они не в силах расхлебать. Он был уверен, что, когда вырастет, он все это распутает.

Вот и сейчас, никто не решился бы сказать, что его отец поступил неправильно, пустившись за этим сумасшедшим вдогонку, когда он выбежал на площадку, и что не надо было останавливать поезда, когда, с силой оттолкнув Григория Осиповича и распахнувши дверцу вагона, он бросился на всем ходу со скорого вниз головой на насыпь, как бросаются с мостков купальни под воду, когда ныряют.

Но так как ручку тормоза повернул не кто-нибудь, а именно Григорий Осипович, то выходило, что поезд продолжает стоять так необъяснимо долго по их милости.

Никто толком не знал причины проволочки. Одни говорили, что от внезапной остановки произошло повреждение воздушных тормозов, другие – что поезд стоит на крутом подъеме и без разгона паровоз не может его взять. Распространяли третье мнение, что так как убившийся видное лицо, то его поверенный, ехавший с ним в поезде, потребовал, чтобы с ближайшей станции Кологривовки вызвали понятых для составления протокола. Вот для чего помощник машиниста лазил на телефонный столб. Дрезина, наверное, уже в пути.

В вагоне чуть-чуть несло из уборных, зловоние которых старались отбить туалетной водой, и пахло жареными курами с легким душком, завернутыми в грязную промасленную бумагу. В нем по-прежнему пудрились, обтирали платком ладони и разговаривали грудными скрипучими голосами сидящие дамы из Петербурга, поголовно превращенные в жгучих цыганок соединением паровозной гари с жирной косметикой. Когда они проходили мимо гордоновского купе, кутая углы плеч в накидки и превращая тесноту коридора в источник нового кокетства, Мише казалось, что они шипят или, судя по их поджатым губам, должны шипеть: «Ах, скажите, пожалуйста, какая чувствительность! Мы особенные! Мы интеллигенты! Мы не можем!»

Тело самоубийцы лежало на траве около насыпи. Струйка запекшейся крови резким знаком чернела поперек лба и глаз разбившегося, перечеркивая это лицо словно крестом вымарки. Кровь казалась не его кровью, вытекшею из него, а приставшим посторонним придатком, пластырем, или брызгом присохшей грязи, или мокрым березовым листком.

Кучка любопытных и сочувствующих вокруг тела все время менялась. Над ним хмуро, без выражения стоял его приятель и сосед по купе, плотный и высокомерный адвокат, породистое животное в вымокшей от пота рубашке. Он изнывал от жары и обмахивался мягкой

шляпой. На все расспросы он нелюбезно цедил, пожимая плечами и даже не оборачиваясь: «Алкоголик. Неужели непонятно? Самое типическое следствие белой горячки».

К телу два или три раза подходила худощавая женщина в шерстяном платье с кружевной косынкою. Это была вдова и мать двух машинистов, старуха Тиверзина, бесплатно следовавшая с двумя невестками в третьем классе по служебным билетам. Тихие, низко повязанные платками женщины безмолвно следовали за ней, как две сестры за хозяйкой. Эта группа вселяла уважение. Перед ними расступались.

Муж Тиверзиной сгорел заживо при одной железнодорожной катастрофе. Она становилась в нескольких шагах от трупа, так, чтобы сквозь толпу ей было видно, и вздохами как бы проводила сравнение. «Кому как на роду написано, — как бы говорила она. — Какой по произволению Божию, а тут, вишь, такой стих нашел — от богатой жизни и ошаления рассудка».

Все пассажиры поезда перебивались около тела и возвращались в вагон только из опасения, как бы у них чего не стащили.

Когда они спрыгивали на полотно, разминались, рвали цветы и делали легкую пробежку, у всех было такое чувство, будто местность возникла только что благодаря остановке, и болотистого луга с кочками, широкой реки и красивого дома с церковью на высоком противоположном берегу не было бы на свете, не случись несчастья.

Даже солнце, тоже казавшееся местной принадлежностью, по-вечернему застенчиво освещало сцену у рельсов, как бы боязливо приблизившись к ней, как подошла бы к полотну и стала бы смотреть на людей корова из пасущегося по соседству стада.

Миша потрясен был всем происшедшим и в первые минуты плакал от жалости и испуга. В течение долгого пути убившийся несколько раз заходил посидеть у них в купе и часами разговаривал с Мишиным отцом. Он говорил, что отходит душой в нравственно чистой тишине и понятливости их мира, и расспрашивал Григория Осиповича о разных юридических тонкостях и кляузных вопросах по части векселей и дарственных, банкротств и подлогов.

— Ах вот как? — удивлялся он разъяснениям Гордона. — Вы располагаете какими-то более милостивыми узаконениями. У моего поверенного иные сведения. Он смотрит на эти вещи гораздо мрачнее.

Каждый раз, как этот нервный человек успокаивался, за ним из первого класса приходил его юрист и сосед по купе и тащил его в салон-вагон пить шампанское. Это был тот плотный, наглый, гладко выбритый и щеголеватый адвокат, который стоял теперь над телом, ничему на свете не удивляясь. Нельзя было отделаться от ощущения, что постоянное возбуждение его клиента в каком-то отношении ему на руку.

Отец говорил, что это известный богач, добряк и шалопут, уже наполовину невменяемый. Не стеснясь Мишиного присутствия, он рассказывал о своем сыне, Мишином ровеснике, и о покойнице жене, потом переходил к своей второй семье, тоже покинутой. Тут он вспоминал что-то новое, бледнел от ужаса и начинал заговариваться и забываться. К Мише он выказывал необъяснимую, вероятно, отраженную и, может быть, не ему предназначенную нежность. Он поминутно дарил ему что-нибудь, для чего выходил на самых больших станциях в залы первого класса, где были книжные стойки и продавали игры и достопримечательности края.

Он пил не переставая и жаловался, что не спит третий месяц и, когда протрезвляется хотя бы ненадолго, терпит муки, о которых нормальный человек не имеет представления.

За минуту до конца он вбежал к ним в купе, схватил Григория Осиповича за руку, хотел что-то сказать, но не мог и, выбежав на площадку, бросился с поезда.

Миша рассматривал небольшой набор уральских минералов в деревянном ящичке — последний подарок покойного. Вдруг кругом все задвигалось. По другому пути к поезду

подошла дрезина. С нее соскочили следователь в фуражке с кокардой, врач, двое городских. Послышались холодные деловые голоса. Задавали вопросы, что-то записывали. Вверх по насыпи, все время обрываясь и съезжая по песку, кондуктора и городовые неловко волокли тело. Завыла какая-то баба. Публику попросили в вагоны и дали свисток. Поезд тронулся.

8

«Опять это лампадное масло!» – злобно подумал Ника и заметался по комнате. Голоса гостей приближались. Отступление было отрезано. В спальне стояли две кровати, воскобойниковская и его, Никина. Недолго думая Ника залез под вторую.

Он слышал, как искали, кликали его в других комнатах, удивлялись его пропаже. Потом вошли в спальню.

– Ну что ж делать, – сказал Веденяпин, – пройдишь, Юра, может быть, после найдется товарищ, поиграете.

Некоторое время они говорили об университетских волнениях в Петербурге и Москве, продержав Нику минут двадцать в его глупой унижительной засаде. Наконец они ушли на террасу. Ника тихонько открыл окно, высочил в него и ушел в парк.

Он был сегодня сам не свой и предшествующую ночь не спал. Ему шел четырнадцатый год. Ему надоело быть маленьким. Всю ночь он не спал и на рассвете вышел из флигеля. Выходило солнце, и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы, петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. Одурающее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки.

Вдруг серебристая струйка ртути, такая же, как капли росы в траве, потекла в нескольких шагах от него. Струйка текла, текла, а земля ее не впитывала. Неожиданно резким движением струйка метнулась в сторону и скрылась. Это была змея-медянка. Ника вздрогнул.

Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам.

«Как хорошо на свете! – подумал он. – Но почему от этого всегда так больно? Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он – это я. Вот я велю ей, – подумал он, взглянув на осину, всю снизу доверху охваченную трепетом (ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести), – вот я прикажу ей...» – И в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» – и дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку.

Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбывал каторгу, по высочайшему помилованию взамен повешения, к которому он был приговорен. Его мать из грузинских княжен Эристовых была взбалмошная и еще молодая красавица, вечно чем-нибудь увлекающаяся – бунтами, бунтарями, крайними теориями, знаменитыми артистами, бедными неудачниками.

Она обожала Нику и из его имени Иннокентий делала кучу немыслимо нежных и дурацких прозвищ вроде Иночек или Ноченька и возила его показывать своей родне в Тифлис. Там его больше всего поразило разлапое дерево на дворе дома, где они остановились. Это был какой-то неуклюжий тропический великан. Своими листьями, похожими на слоновье уши, он ограждал двор от палящего южного неба. Ника не мог привыкнуть к мысли, что это дерево – растение, а не животное.

Мальчику было опасно носить страшное отцовское имя. Иван Иванович с согласия Нины Галактионовны собирался подавать на высочайшее имя о присвоении Нике материнской фамилии.

Когда он лежал под кроватью, возмущаясь ходом вещей на свете, он среди всего прочего думал и об этом. Кто такой Воскобойников, чтобы заводить так далеко свое вмешательство? Вот он их проучит!

А эта Надя! Если ей пятнадцать лет, значит, она имеет право задирать нос и разговаривать с ним как с маленьким? Вот он ей покажет! «Я ее ненавижу, – несколько раз повторил он про себя. – Я ее убью! Я позову ее кататься на лодке и утоплю».

Хороша также и мама. Она надула, конечно, его и Воскобойникова, когда уезжала. Ни на каком она не на Кавказе, а просто-напросто свернула с ближайшей узловой на север и преспокойно стреляет себе в Петербурге вместе со студентами в полицию. А он должен сгнить заживо в этой глупой яме. Но он их всех перехитрит. Утопит Надю, бросит гимназию и удерет подымать восстание к отцу в Сибирь.

Край пруда порос сплошь кувшинками. Лодка взрезала эту гущу с сухим шорохом. В разрывах заросли проступала вода пруда, как сок арбуза в треугольнике разреза.

Мальчик и девочка стали рвать кувшинки. Оба ухватились за один и тот же нервующийся и тугой как резина стебель. Он стянул их вместе. Дети стукнулись головами. Лодку как багром подтянуло к берегу. Стебли перепутывались и укорачивались, белые цветы с яркою, как желток с кровью, сердцевинкой уходили под воду и выныривали со льющеюся из них водою.

Надя и Ника продолжали рвать цветы, все более накреня лодку и почти лежа рядом на опустившемся борту.

– Надоело учиться, – сказал Ника. – Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди.

– А я как раз хотела попросить тебя объяснить мне квадратные уравнения. Я так слаба в алгебре, что дело чуть не кончилось переэкзаменовкой.

Нике в этих словах почудились какие-то шпильки. Ну конечно, она ставит его на место, напоминая ему, как он еще мал. Квадратные уравнения! А они еще и не нюхали алгебры.

Не выдавая, как он уязвлен, он спросил притворно равнодушно, в ту же минуту поняв, как это глупо:

– Когда ты вырастешь, за кого ты выйдешь замуж?

– О, это еще так далеко. Вероятно, ни за кого. Я пока не думала.

– Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно.

– Тогда зачем ты спрашиваешь?

– Ты дура.

Они начали ссориться. Нике вспомнилось его утреннее женоненавистничество. Он пригрозил Наде, что, если она не перестанет говорить дерзости, он ее утопит.

– Попробуй, – сказала Надя.

Он схватил ее поперек туловища. Между ними завязалась драка. Они потеряли равновесие и полетели в воду.

Оба умели плавать, но водяные лилии цеплялись за их руки и ноги, а дна они еще не могли нащупать. Наконец, увязая в тине, они выбрались на берег. Вода ручьями текла из их башмаков и карманов. Особенно устал Ника.

Если бы это случилось совсем еще недавно, не дальше чем нынешней весной, то в данном положении, сидя мокры-мокрешеньки вдвоем после такой переправы, они непременно бы шумели, ругались бы или хохотали.

А теперь они молчали и еле дышали, подавленные бессмыслицей случившегося. Надя возмущалась и молча негодовала, а у Ники болело все тело, словно ему перебили палкою ноги и руки и продавили ребра.

Наконец тихо, как взрослая, Надя проронила:

– Сумасшедший! – и он также по-взрослому сказал:

– Прости меня.

Они стали подниматься к дому, оставляя мокрый след за собой, как две водовозные бочки. Их дорога лежала по пыльному подъему, кишевшему змеями, недалеко от того места, где Ника утром увидел медянку.

Ника вспомнил волшебную приподнятость ночи, рассвет и свое утреннее всемогущество, когда он по своему произволу повелевал природой. Что приказать ей сейчас? – подумал он. Чего бы ему больше всего хотелось? Ему представилось, что больше всего хотел бы он когда-нибудь еще раз свалиться в пруд с Надею и много бы отдал сейчас, чтобы знать, будет ли это когда-нибудь или нет.

Часть вторая

Девочка из другого круга

1

Война с Японией еще не кончилась. Неожиданно ее заслонили другие события. По России прокатывались волны революции, одна другой выше и невиданней.

В это время в Москву с Урала приехала вдова инженера-бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна Гишар с двумя детьми, сыном Родионом и дочерью Лари-сою. Сына она отдала в кадетский корпус, а дочь в женскую гимназию, по случайности ту самую и тот же самый класс, в котором училась Надя Кологривова.

У мадам Гишар были от мужа сбережения в бумагах, которые раньше поднимались, а теперь стали падать. Чтобы приостановить таяние своих средств и не сидеть сложа руки, мадам Гишар купила небольшое дело, швейную мастерскую Левицкой близ Триумфальных ворот, у наследников портнихи, с правом сохранения старой фирмы, с кругом ее прежних заказчиц и всеми модистками и ученицами.

Мадам Гишар сделала это по совету адвоката Комаровского, друга своего мужа и своей собственной опоры, хладнокровного дельца, знавшего деловую жизнь в России как свои пять пальцев. С ним она списалась насчет переезда, он встречал их на вокзале, он повез через всю Москву в меблированные комнаты «Черногория» в Оружейном переулке, где снял для них номер, он же уговорил отдать Родю в корпус, а Ларю в гимназию, которую он порекомендовал, и он же невнимательно шутил с мальчиком и заглядывался на девочку так, что она краснела.

2

Перед тем как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, находившуюся при мастерской, они около месяца прожили в «Черногории».

Это были самые ужасные места Москвы, лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы «погибших созданий».

Детей не удивляла грязь в номерах, клопы, убожество меблировки. После смерти отца мать жила в вечном страхе обнищания. Родя и Лара привыкли слышать, что они на краю гибели. Они понимали, что они не дети улицы, но в них глубоко сидела робость перед богатыми, как у питомцев сиротских домов.

Живой пример этого страха подавала им мать. Амалия Карловна была полная блондинка лет тридцати пяти, у которой сердечные припадки сменялись припадками глупости. Она была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности все время попадала к ним из объятия в объятие.

В «Черногории» они занимали двадцать третий номер, а в двадцать четвертом со дня основания номеров жил виолончелист Тышкевич, потливый и лысый добряк в паричке, который молитвенно складывал руки и прижимал их к груди, когда убеждал кого-нибудь, и закидывал голову назад и вдохновенно закатывал глаза, играя в обществе и выступая на концертах. Он редко бывал дома и на целые дни уходил в Большой театр или консерваторию. Соседи познакомились. Взаимные одолжения сблизили их.

Так как присутствие детей иногда стесняло Амалию Карловну во время посещений Комаровского, Тышкевич, уходя, стал оставлять ей ключ от своего номера для приема ее

приятеля. Скоро мадам Гишар так свыклась с его самопожертвованием, что несколько раз в слезах стучалась к нему, прося у него защиты от своего покровителя.

3

Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения, казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады.

Туда ходила домой к себе Оля Демина, умная девочка, племянница одного служащего с Москвы-Товарной.

Она была способная ученица. Ее отмечала старая владелица и теперь стала приближать к себе новая. Оле Деминой очень нравилась Лара.

Все оставалось, как при Левицкой. Как очумелые, крутились швейные машины под опускающимися ногами или порхающими руками усталых мастериц. Кто-нибудь тихо шил, сидя на столе и отводя на отлет руку с иглой и длинной ниткой. Пол был усеян лоскутками. Разговаривать приходилось громко, чтобы перекричать стук швейных машин и переливчатые трели Кирилла Модестовича, канарейки в клетке под оконным сводом, тайну прозвища которой унесла с собой в могилу прежняя хозяйка.

В приемной дамы живописной группой окружали стол с журналами. Они стояли, сидели и полуоблокачивались в тех позах, какие видели на картинках, и, рассматривая модели, советовались насчет фасонов. За другим столом на директорском месте сидела помощница Амалии Карловны из старших закройщиц, Фаина Силантьевна Фетисова, костлявая женщина с бородавками в углублениях дряблых щек.

Она держала костяной мундштук с папиросой в пожелтевших зубах, щурила глаз с желтым белком и, выпуская желтую струю дыма ртом и носом, записывала в тетрадку мерки, номера квитанций, адреса и пожелания толпившихся заказчиц.

Амалия Карловна была в мастерской новым и неопытным человеком. Она не чувствовала себя в полном смысле хозяйкою. Но персонал был честный, на Фетисову можно было положиться. Тем не менее время было тревожное. Амалия Карловна боялась задумываться о будущем. Отчаяние охватывало ее. Все валилось у нее из рук.

Их часто навещал Комаровский. Когда Виктор Ипполитович проходил через всю мастерскую, направляясь на их половину и мимоходом пугая переодевавшихся франтих, которые скрывались при его появлении за ширмы и оттуда игриво парировали его развязные шутки, мастерицы неодобрительно и насмешливо шептали ему вслед: «Пожаловал», «Ейный», «Амалькина присуха», «Буйвол», «Бабья порча».

Предметом еще большей ненависти был его бульдог Джек, которого он иногда приводил на поводке и который такими стремительными рывками тащил его за собою, что Комаровский сбивался с шага, бросался вперед и шел за собакой, вытянув руки, как слепой за поводырем.

Однажды весной Джек вцепился Ларе в ногу и разорвал ей чулок.

– Я его смертью изведу, нечистую силу, – по-детски прохрипела Ларе на ухо Оля Демина.

– Да, в самом деле противная собака. Но как же ты, глупенькая, это сделаешь?

– Тише ты, не ори, я вас научу. Вот яйца есть на Пасху каменные. Ну вот у вашей маменьки на комодке...

– Ну да, мраморные, хрустальные.

– Ага, вот-вот. Ты нагнись, я на ухо. Надо взять, вымочить в сале, сало пристанет, наглотеется он, паршивый пес, набьет, сатана, пестерь, и – шабаш! Кверху лапки! Стекло!

Лара смеялась и с завистью думала: девочка живет в нужде, трудится. Малолетние из народа рано развиваются. А вот поди же ты, сколько в ней еще неиспорченного, детского. Яйца, Джек – откуда что берется? «За что же мне такая участь, – думала Лара, – что я все вижу и так о всем болею?»

4

«Ведь для него мама – как это называется... Ведь он – мамин, это самое... Это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я ее дочь».

Ей было немногим больше шестнадцати, но она была вполне сложившейся девушкой. Ей давали восемнадцать лет и больше. У нее был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой.

Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разнюхивать вещи, практически их еще не касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была самым чистым существом на свете.

Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым. Надо было быть на хорошем счету, чтобы пробиться. Лара хорошо училась не из отвлеченной тяги к знаниям, а потому что для освобождения от платы за учение надо было быть хорошей ученицей, а для этого требовалось хорошо учиться. Так же хорошо, как она училась, Лара без труда мыла посуду, помогала в мастерской и ходила по маминым поручениям. Она двигалась бесшумно и плавно, и все в ней – незаметная быстрота движений, рост, голос, серые глаза и белокурый цвет волос – было под стать друг другу.

Было воскресенье, середина июля. По праздникам можно было утром понежиться в постели подольше. Лара лежала на спине, закинувши руки назад и положив их под голову.

В мастерской стояла непривычная тишина. Окно на улицу было отворено. Лара слышала, как громыхавшая вдали пролетка съехала с булыжной мостовой в желобок кончного рельса и грубая стукотня сменилась плавным скольжением колеса как по маслу. «Надо поспать еще немного», – подумала Лара. Рокот города усыплял, как колыбельная песня.

Свой рост и положение в постели Лара ощущала сейчас двумя точками – выступом левого плеча и большим пальцем правой ноги. Это были плечо и нога, а все остальное – более или менее она сама, ее душа или сущность, стройно вложенная в очертания и отзывчиво рвущаяся в будущее.

«Надо уснуть», – думала Лара и вызывала в воображении солнечную сторону Каретного ряда в этот час, сараи экипажных заведений с огромными колымагами для продажи на чисто подметенных полах, граненое стекло каретных фонарей, медвежьи чучела, богатую жизнь. А немного ниже, в мыслях рисовала себе Лара, – учение драгун во дворе Знаменских казарм, чинные ломающиеся лошади, идущие по кругу, прыжки с разбега в седла и проездка шагом, проездка рысью, проездка вскачь. И разинутые рты нянек с детьми и кормилиц, рядами прижавшихся снаружи к казарменной ограде. А еще ниже, думала Лара, – Петровка, Петровские линии.

«Что вы, Лара! Откуда такие мысли? Просто я хочу показать вам свою квартиру. Тем более что это рядом».

Была Ольга, у его знакомых в Каретном маленькая дочь-именинница. По этому случаю веселились взрослые – танцы, шампанское. Он приглашал маму, но мама не могла, ей нездоровилось. Мама сказала: «Возьмите Лару. Вы меня всегда предостерегаете: „Амалия, берегите Лару“. Вот теперь и берегите ее». И он ее берег, нечего сказать! Ха-ха-ха!

Какая безумная вещь вальс! Кружишься, кружишься, ни о чем не думая. Пока играет музыка, проходит целая вечность, как жизнь в романах. Но едва перестают играть, ощущение скандала, словно тебя облили холодной водой или застали не одетой. Кроме того, эти вольности позволяешь другим из хвастовства, чтобы показать, какая ты уже большая.

Она никогда не могла предположить, что он так хорошо танцует. Какие у него умные руки, как уверенно берется он за талию! Но целовать себя так она больше никому не позволит. Она никогда не могла предположить, что в чужих губах может сосредоточиться столько бесстыдства, когда их так долго прижимают к твоим собственным.

Бросить эти глупости. Раз навсегда. Не разыгрывать простушки, не умильничать, не потуплять стыдливо глаз. Это когда-нибудь плохо кончится. Тут совсем рядом страшная черта. Ступить шаг, и сразу же летишь в пропасть. Забыть думать о танцах. В них все зло. Не стесняться отказывать. Выдумать, что не училась танцевать или сломала ногу.

5

Осенью происходили волнения на железных дорогах московского узла. Забастовала Московско-Казанская железная дорога. К ней должна была примкнуть Московско-Брестская. Решение о забастовке было принято, но в комитете дороги не могли столкнуться о дне ее объявления. Все на дороге знали о забастовке, и требовался только внешний повод, чтобы она началась самочинно.

Было холодное пасмурное утро начала октября. В этот день на линии должны были выдавать жалованье. Долго не поступали сведения из счетной части. Потом в контору прошел мальчик с табелью, выплатной ведомостью и грудой отобранных с целью взыскания рабочих книжек. Платеж начался. По бесконечной полосе незастроенного пространства, отделявшего вокзал, мастерские, паровозные депо, пакгаузы и рельсовые пути от деревянных построек правления, потянулись за заработком проводники, стрелочники, слесаря и их подручные, бабы-поломойки из вагонного парка.

Пахло началом городской зимы, топтанным листом клена, талым снегом, паровозной гарью и теплым ржаным хлебом, который выпекали в подвале вокзального буфета и только что вынули из печи. Приходили и уходили поезда. Их составляли и разбирали, размахивая свернутыми и развернутыми флагами. На все лады заливались рожки сторожей, карманные свистки сцепщиков и басистые гудки паровозов. Столбы дыма бесконечными лестницами подымались к небу. Растопленные паровозы стояли, готовые к выходу, обжигая холодные зимние облака кипящими облаками пара.

По краю полотна расхаживали взад и вперед начальник дистанции инженер путей сообщения Фуфлыгин и дорожный мастер привокзального участка Павел Ферапонтович Антипов. Антипов надоедал службе ремонта жалобами на материал, который отгружали ему для обновления рельсового покрова. Сталь была недостаточной вязкости. Рельсы не выдерживали пробы на прогиб и излом и по предположениям Антипова должны были лопаться на морозе. Управление относилось безучастно к жалобам Павла Ферапонтовича. Кто-то нагревал себе на этом руки.

На Фуфлыгине была расстегнутая дорогая шуба с путевым кантиком и под нею новый штатский костюм из шевиота. Он осторожно ступал по насыпи, любуясь общей линией пиджачных бортов, правильностью брючной складки и благородной формой своей обуви.

Слова Антипова влетали у него в одно ухо и вылетали в другое. Фуфлыгин думал о чем-то своем, каждую минуту вынимал часы, смотрел на них и куда-то торопился.

— Верно, верно, батюшка, — нетерпеливо прерывал он Антипова, — но это только на главных путях где-нибудь или на сквозном перегоне, где большое движение. А вспомни, что

у тебя? Запасные пути какие-то и тупики, лопух да крапива, в крайнем случае – сортировка порожняка и разъезды маневровой «кукушки». И он еще недоволен! Да ты с ума сошел! Тут не то что такие рельсы, тут можно класть деревянные.

Фуфлыгин посмотрел на часы, захлопнул крышку и стал вглядываться в даль, откуда к железной дороге приближалась шоссейная. На повороте дороги показалась коляска. Это был свой выезд Фуфлыгина. За ним пожаловала жена. Кучер остановил лошадей почти у полотна, все время сдерживая их и потпрукивая на них тоненьким бабьим голоском, как няньки на квасящихся младенцев, – лошади пугались железной дороги. В углу коляски, небрежно откинувшись на подушки, сидела красивая дама.

– Ну, брат, как-нибудь в другой раз, – сказал начальник дистанции и махнул рукой – не до твоих, мол, рельсов. Есть поважнее материи.

Супруги укатили.

6

Через часа три или четыре, поближе к сумеркам, в стороне от дороги в поле как из-под земли выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности, и, часто оглядываясь, стали быстро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин.

– Пойдем скорее, – сказал Тиверзин. – Я не шпигов остерегаюсь, как бы не выследили, а сейчас кончится эта волынка, вылезут они из землянки и нагонят. А я их видеть не могу. Когда все так тянуть, незачем и огород городить. Ни к чему тогда и комитет, и с огнем игра, и лезть под землю! И ты тоже хорош, эту размазню с Николаевской поддерживаешь.

– У моей Дарьи тиф брюшной. Мне бы ее в больницу. Покамест не свезу, ничего в голову не лезет.

– Говорят, выдают сегодня жалованье. Схожу в контору. Не платежный бы день, вот как перед Богом, плюнул бы я на вас и, не медля ни минуты, своей управой положил бы конец гомозне.

– Это, позвольте спросить, каким же способом?

– Дело нехитрое. Спустился в котельную, дал свисток – и кончен бал.

Они простились и пошли в разные стороны.

Тиверзин шел по путям в направлении к городу. Навстречу ему попадались люди, шедшие с получкою из конторы. Их было очень много. Тиверзин на глаз определил, что на территории станции расплатились почти со всеми.

Стало смеркаться. На открытой площадке возле конторы толпились незанятые рабочие, освещенные конторскими фонарями. На въезде к площадке стояла фуфлыгинская коляска. Фуфлыгина сидела в ней в прежней позе, словно она с утра не выходила из экипажа. Она дожидалась мужа, получавшего деньги в конторе.

Неожиданно пошел мокрый снег с дождем. Кучер слез с козел и стал поднимать кожаный верх. Пока, упершись ногой в задок, он растягивал тугие распорки, Фуфлыгина любовалась бисерно-серебристой водяной кашей, мелькавшей в свете конторских фонарей. Она бросала немигающий мечтательный взгляд поверх толпившихся рабочих с таким видом, словно в случае надобности этот взгляд мог бы пройти без ущерба через них насквозь, как сквозь туман или изморось.

Тиверзин случайно подхватил это выражение. Его покорило. Он прошел, не поклонившись Фуфлыгиной, и решил зайти за жалованьем попозже, чтобы не сталкиваться в конторе с ее мужем. Он пошел дальше, в менее освещенную сторону мастерских, где чернел поворотный круг с расходящимися путями в паровозное депо.

– Тиверзин! Куприк! – окликнули его несколько голосов из темноты. Перед мастерскими стояла кучка народу. Внутри кто-то орал и слышался плач ребенка. – Киприян Савельевич, заступитесь за мальчика, – сказала из толпы какая-то женщина.

Старый мастер Петр Худолеев опять по обыкновению лупцевал свою жертву, малолетнего ученика Юсупку.

Худолеев не всегда был истязателем подмастерьев, пьяницей и тяжелым на руку драчуном. Когда-то на бравого мастерового заглядывались купеческие дочери и поповны подмосковных мануфактурных посадов. Но мать Тиверзина, в то время выпускница-епархиалка, за которую он сватался, отказала ему и вышла замуж за его товарища, паровозного машиниста Савелия Никитича Тиверзина.

На шестой год ее вдовства, после ужасной смерти Савелия Никитича (он сгорел в 1888 году при одном нашумевшем в то время столкновении поездов), Петр Петрович возобновил свое искательство, и опять Марфа Гавриловна ему отказала. С тех пор Худолеев запил и стал буянить, сводя счеты со всем светом, виноватым, как он был уверен, в его нынешних неурядицах.

Юсупка был сыном дворника Гимазетдина с тиверзинского двора. Тиверзин покровительствовал мальчику в мастерских. Это подогревало в Худолееве неприязнь к нему.

– Как ты напилوك держишь, азиат! – орал Худолеев, таская Юсупку за волосы и костыля по шее. – Нешто так отливку обдирают? Я тебя спрашиваю, будешь ты мне работу погачить, касимовская невеста, алла мулла косые глаза?

– Ай не буду, дяинька, ай не буду, не буду, ай больно!

– Тыщу раз ему сказывали, вперед подведи бабку, а тады завинчивай упор, а он знай свое, знай свое. Чуть мне шпентель не сломал, сукин сын.

– Я шпиндил не трогал, дяинька, ей-богу, не трогал.

– За что ты мальчика тиранишь? – спросил Тиверзин, протиснувшись сквозь толпу.

– Свои собаки грызутся, чужая не подходи, – отрезал Худолеев.

– Я тебя спрашиваю, за что ты мальчика тиранишь?

– А я тебе говорю, проходи с Богом, социал-командир. Его убить мало, сволочь этакую, чуть мне шпентель не сломал. Пушай мне руки целует, что жив остался, косой черт, – уши я ему только надрал да за волосы поучил.

– А что же, по-твоему, ему за это надо голову оторвать, дядя Худолей? Постыдился бы, право. Старый мастер, дожил до седых волос, а не нажил ума.

– Проходи, проходи, говорю, куда цел. Дух из тебя я вышибу – учить меня, собачье гузно! Тебя на шпалах делали, севрюжья кровь, у отца под самым носом. Мать твою, мокрохвостку, я во как знаю, кошку драную, трепаный подол!

Все происшедшее дальше заняло не больше минуты. Оба схватили первое, что подвернулось под руку на подставках станков, на которых валялись тяжелые инструменты и куски железа, и убили бы друг друга, если бы народ в ту же минуту не бросился кучею их разнимать. Худолеев и Тиверзин стояли, нагнув головы и почти касаясь друг друга лбами, бледные, с налившимися кровью глазами. От волнения они не могли выговорить ни слова. Их крепко держали, ухвативши сзади за руки. Минутами, собравшись с силой, они начинали вырываться, извиваясь всем телом и волоча за собой висевших на них товарищей. Крючки и пуговицы у них на одежде пообрывались, куртки и рубахи сползли с оголившихся плеч. Нестройный гам вокруг них не умолкал:

– Зубило! Зубило у него отыми – проломит башку.

– Тише, тише, дядя Петр, вывернем руку!

– Это все так с ними хороводиться? Растащить врозь, посадить под замок – и дело с концом.

Вдруг нечеловеческим усилием Тиверзин стряхнул с себя клубок навалившихся тел и, вырвавшись от них, с разбега очутился у двери. Его кинулось было ловить, но, увидав, что у него совсем не то на уме, оставили в покое. Он вышел, хлопнув дверью, и зашагал вперед не оборачиваясь. Его окружала осенняя сырость, ночь, темнота.

– Ты им стараешься добро, а они норовят тебе нож в ребро, – ворчал он и не сознавал, куда и зачем идет.

Этот мир подлости и подлога, где разевшаяся барынька смеет так смотреть на дуралеев-тружеников, а спившаяся жертва этих порядков находит удовольствие в глумлении над себе подобным, этот мир был ему сейчас ненавистнее, чем когда-либо. Он шел быстро, словно поспешность его походки могла приблизить время, когда все на свете будет разумно и стройно, как сейчас в его разгоряченной голове. Он знал, что их стремления последних дней, беспорядки на линии, речи на сходках и их решение бастовать, не приведенное пока еще в исполнение, но и не отмененное, – все это отдельные части этого большого и еще предстоящего пути. Но сейчас его возбуждение дошло до такой степени, что ему не терпелось пробежать все это расстояние разом, не переводя дыхания. Он не соображал, куда он шагает, широко раскидывая ноги, но ноги прекрасно знали, куда несли его.

Тиверзин долго не подозревал, что после ухода его и Антипова из землянки на заседании было постановлено приступить к забастовке в этот же вечер. Члены комитета тут же распределили между собой, кому куда идти и кого где снимать. Когда из паровозоремонтного, словно со дна тиверзинской души, вырвался хриплый, постепенно очищающийся и выравнивающийся сигнал, от входного семафора к городу уже двигалась толпа из депо и с товарной станции, сливаясь с новой толпой, побросавшей работу по тиверзинскому свистку из котельной.

Тиверзин много лет думал, что это он один остановил в ту ночь работы и движение на дороге. Только позднейшие процессы, на которых его судили по совокупности и не вставляли подстрекательства к забастовке в пункты обвинения, вывели его из этого заблуждения.

Выбегали, спрашивали:

– Куда народ свищут?

Из темноты отвечали:

– Небось и сам не глухой. Слышишь – тревога. Пожар тушить.

– А где горит?

– Стало быть, горит, коли свищут.

Хлопали двери, выходили новые. Раздавались другие голоса:

– Толкуй тоже – пожар! Деревня! Не слушайте дурака. Это называется зашабашили, понял? Вот хомут, вот дуга, я те больше не слуга. По домам, ребята.

Народу все прибывало. Железная дорога забастовала.

7

Тиверзин пришел домой на третий день, продрогший, невыспавшийся и небритый. Накануне ночью грянул мороз, небывалый для таких чисел, а Тиверзин был одет по-осеннему. У ворот встретил его дворник Гимазетдин.

– Спасибо, господин Тиверзин, – зарядил он. – Юсуп обида не давал, заставил век Бога молить.

– Что ты, очумел, Гимазетдин, какой я тебе господин? Брось ты это, пожалуйста. Говори скорее, видишь, мороз какой.

– Зачем мороз, тебе тепло, Савельич. Мы вчерашний день твой мамаша Марфа Гавриловна Москва-Товарная полный сарай дров возили, одна береза, хорошие дрова, сухие дрова.

– Спасибо, Гимазетдин. Ты еще что-то сказать хочешь, скорее, пожалуйста, озяб я, понимаешь.

– Сказать хотел, дома не ночуй, Савельич, хорониться надо. Постовой спрашивал, око-
лодочный спрашивал, кто, говорит, ходит. Я говорю, никто не ходит. Помощник, говорю,
ходит, паровозная бригада ходит, железная дорога ходит. А чтобы кто-нибудь чужой – ни-ни!

Дом, в котором холостой Тиверзин жил вместе с матерью и женатым младшим бра-
том, принадлежал соседней церкви Святой Троицы. Дом этот был заселен некоторою частью
причта, двумя артелями фруктовщиков и мясников, торговавших в городе с лотков вразнос,
а по преимуществу мелкими служащими Московско-Брестской железной дороги.

Дом был каменный с деревянными галереями. Они с четырех сторон окружали гряз-
ный немощенный двор. Вверх по галереям шли грязные и скользкие деревянные лестницы.
На них пахло кошками и квашеной капустой. По площадкам лепились отхожие будки и кла-
довые под висячими замками.

Брат Тиверзина был призван рядовым на войну и ранен под Вафангоу. Он лежал на
излечении в Красноярском госпитале, куда для встречи с ним и принятия его на руки выехала
его жена с двумя дочерьми. Потомственные железнодорожники Тиверзины были легки на
подъем и разъезжали по всей России по даровым служебным удостоверениям. В настоящее
время в квартире было тихо и пусто. В ней жили только сын да мать.

Квартира помещалась во втором этаже. Перед входною дверью на галерее стояла бочка,
которую наполнял водой водовоз. Когда Киприян Савельич поднялся в свой ярус, он обна-
ружил, что крышка с бочки сдвинута набок и на обломке льда, сковавшего воду, стоит при-
мерзшая к ледяной корочке железная кружка. «Не иначе Пров, – подумал Тиверзин, усмех-
нувшись. – Пьет, не напьется, прорва, огненное нутро».

Пров Афанасьевич Соколов, псаломщик, видный и нестарый мужчина, был дальним
родственником Марфы Гавриловны.

Киприян Савельевич оторвал кружку от ледяной корки, надвинул крышку на бочку и
дернул ручку дверного колокольчика. Облако жилого духа и вкусного пара двинулось ему
навстречу.

– Жарко истопили, маменька. Тепло у нас, хорошо.

Мать бросилась к нему на шею, обняла и заплакала. Он погладил ее по голове, подо-
ждал и мягко отстранил.

– Смелость города берет, маменька, – тихо сказал он, – стоит моя дорога от Москвы
до самой Варшавы.

– Знаю. Оттого и плачу. Несдобровать тебе. Убраться бы тебе, Купринька, куда-нибудь
подальше.

– Чуть мне голову не проломил ваш миленький дружок, любезный пастушок ваш, Петр
Петров.

Он думал рассмешить ее. Она не поняла шутки и серьезно ответила:

– Грех над ним смеяться, Купринька. Ты б его пожалел. Отпетый горемыка, погибшая
душа.

– Забрали Антипова Пашку. Павла Ферапонтовича. Пришли ночью, обыск, все перебу-
торили. Утром увели. Тем более Дарья его, тиф это, в больнице. Павлушка малый, в реаль-
ном учится, один в доме с теткой глухой. Притом гонят их с квартиры. Я считаю, надо маль-
чика к нам. Зачем Пров заходил?

– Почему ты знаешь?

– Бочка, вижу, не покрыта и кружка стоит. Обязательно, думаю, Пров бездонный воду
хлобыстал.

– Какой ты догадливый, Купринька. Твоя правда. Пров, Пров, Пров Афанасьевич. Забе-
жал попросить дров взаймы – я дала. Да что я, дура, – дрова! Совсем из головы у меня вон,

какую он новость принес. Государь, понимаешь, манифест подписал, чтобы все перевернуть по-новому, никого не обижать, мужикам землю и всех сравнять с дворянами. Подписанный указ, ты что думаешь, только обнародовать. Из синода новое прошение прислали, вставить в ектинью, или там какое-то моление заздравное, не хочу врать. Провушка сказывал, да я вот запамятовала.

8

Патуля Антипов, сын арестованного Павла Ферапонтовича и помещенной в больницу Дарьи Филимоновны, поселился у Тиверзиных. Это был чистоплотный мальчик с правильными чертами лица и русыми волосами, расчесанными на прямой пробор. Он их поминутно приглаживал щеткою и поминутно оправлял куртку и кушак с форменной пряжкой реального училища. Патуля был смешлив до слез и очень наблюдателен. Он с большим сходством и комизмом передразнивал все, что видел и слышал.

Вскоре после Манифеста семнадцатого октября задумана была большая демонстрация от Тверской заставы к Калужской. Это было начинание в духе пословицы «У семи нянек дитя без глазу». Несколько революционных организаций, причастных к затее, перегрызлись между собой и одна за другой от нее отступились, а когда узнали, что в назначенное утро люди все же вышли на улицу, наскоро послали к манифестантам своих представителей.

Несмотря на отговоры и противодействие Киприяна Савельевича, Марфа Гавриловна пошла на демонстрацию с веселым и общительным Патулей.

Был сухой морозный день начала ноября, с серо-свинцовым спокойным небом и реденькими, почти считанными снежинками, которые долго и уклончиво вились, перед тем как упасть на землю и потом серою пушистой пылью забиться в дорожные колдобины.

Вниз по улице валил народ, сущее столпотворение, лица, лица и лица, зимние пальто на вате и барашковые шапки, старики, курсистки и дети, путейцы в форме, рабочие трамвайного парка и телефонной станции в сапогах выше колен и кожаных куртках, гимназисты и студенты.

Некоторое время пели «Варшавянку», «Вы жертвою пали» и «Марсельезу», но вдруг человек, пятившийся задом перед шествием и взмахами зажатой в руке кубанки дирижировавший пением, надел шапку, перестал запевать и, повернувшись спиной к процессии, пошел впереди и стал прислушиваться, о чем говорят остальные распорядители, шедшие рядом. Пение расстроилось и оборвалось. Стал слышен хрустящий шаг несметной толпы по мерзлой мостовой. Доброжелатели сообщали инициаторам шествия, что демонстрантов впереди подстерегают казаки. О готовящейся засаде телефонировали в близлежащую аптеку.

— Так что же, — говорили распорядители. — Тогда главное — хладнокровие и не теряться. Надо немедленно занять первое общественное здание, какое попадется по дороге, объявить людям о грозящей опасности и расходиться поодиночке.

Заспорили, куда будет лучше всего. Одни предлагали в Общество купеческих приказчиков, другие — в Высшее техническое, третьи — в Училище иностранных корреспондентов.

Во время этого спора впереди показался угол казенного здания. В нем тоже помещалось учебное заведение, годившееся в качестве прибежища ничуть не хуже перечисленных.

Когда идущие поравнялись с ним, вожаки поднялись на полукруглую площадку подъезда и знаками остановили голову процессии. Многостворчатые двери входа открылись, и шествие в полном составе, шуба за шубой и шапка за шапкой, стало вливаться в вестибюль школы и подниматься по ее парадной лестнице.

— В актовый зал, в актовый зал! — кричали сзади единичные голоса, но толпа продолжала валить дальше, разбредаясь в глубине по отдельным коридорам и классам.

Когда публику все же удалось вернуть и все расселись на стульях, руководители несколько раз пытались объявить собранию о расставленной впереди ловушке, но их никто не слушал. Остановка и переход в закрытое помещение были поняты как приглашение на импровизированный митинг, который тут же и начался.

Людям после долгого шагания с пением хотелось посидеть немного молча и чтобы теперь кто-нибудь другой отдувался за них и драл свою глотку. По сравнению с главным удовольствием отдыха безразличны были ничтожные разногласия говоривших, почти во всем солидарных друг с другом.

Поэтому наибольший успех выпал на долю наихудшего оратора, не утомлявшего слушателей необходимостью следить за ним. Каждое его слово сопровождалось ревом сочувствия. Никто не жалел, что его речь заглушается шумом одобрения. С ним торопились согласиться из нетерпения, кричали «позор», составляли телеграмму протеста и вдруг, наскучив однообразием его голоса, поднялись как один и, совершенно забыв про оратора, шапка за шапкой и ряд за рядом толпой спустились по лестнице и высыпали на улицу. Шествие продолжалось.

Пока митинговали, на улице повалил снег. Мостовые побелели. Снег валил все гуще.

Когда налетели драгуны, этого в первую минуту не подозревали в задних рядах. Вдруг спереди прокатился нарастающий гул, как когда толпою кричат «ура». Крики «караул», «убили» и множество других слились во что-то неразличимое. Почти в ту же минуту на волне этих звуков по тесному проходу, образовавшемуся в шарахнувшейся толпе, стремительно и бесшумно пронесли лошадиные морды и гривы и машущие шашками всадники.

Полувзвод проскакал, повернул, перестроился и врезался сзади в хвост шествия. Началось избиение.

Спустя несколько минут улица была почти пуста. Люди разбегались по переулкам. Снег шел реже. Вечер был сух, как рисунок углем. Вдруг садящееся где-то за домами солнце стало из-за угла словно пальцем тыкать во все красное на улице: в красноватые шапки драгун, в полотнище упавшего красного флага, в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькими ниточками и точками.

По краю мостовой полз, притягиваясь на руках, стонущий человек с раскроенным черепом. Снизу шагом в ряд ехали несколько конных. Они возвращались с конца улицы, куда их завлекло преследование. Почти под ногами у них металась Марфа Гавриловна в сбившемся на затылок платке и не своим голосом кричала на всю улицу: «Паша! Патуля!»

Он все время шел с ней и забавлял ее, с большим искусством изображая последнего оратора, и вдруг пропал в суматохе, когда наскочили драгуны. В переделке Марфа Гавриловна сама получила по спине нагайкой, и хотя ее плотно подбитый ватой шушун не дал ей почувствовать удара, она выругалась и погрозила кулаком удалявшейся кавалерии, возмущенная тем, как это ее, старуху, осмелились при всем честном народе вытянуть плеткой.

Марфа Гавриловна бросала взволнованные взгляды по обе стороны мостовой. Вдруг она по счастью увидела мальчика на противоположном тротуаре. Там в углублении между колониальной лавкой и выступом каменного особняка толпилась кучка случайных ротозеев.

Туда загнал их крупом и боками своей лошади драгун, въехавший верхом на тротуар. Его забавлял их ужас, и, загородив им выход, он производил перед их носом манежные вольты и пируэты, пятил лошадь задом и медленно, как в цирке, подымал ее на дыбы. Вдруг впереди он увидел шагом возвращающихся товарищей, дал лошади шпоры и в два-три прыжка занял место в их ряду.

Народ, сжатый в закоулке, рассеялся. Паша, раньше боявшийся подать голос, кинулся к бабушке.

Они шли домой. Марфа Гавриловна все время ворчала:

– Смертоубийцы проклятые, окаянные душегубы! Людям радость, царь волю дал, а эти не утерпят. Все бы им испакостить, всякое слово вывернуть наизнанку.

Она была зла на драгун, на весь свет кругом и в эту минуту даже на родного сына. В моменты запальчивости ей казалось, что все происходящее сейчас – это все штуки Купринькиных путаников, которых она звала промахами и мудрофелями.

– Злые аспиды! Что им, оглашенным, надо? Никакого понятия! Только бы лаяться да вздорить. А этот, речистый, как ты его, Пашенька? Покажи, милый, покажи. Ой помру, ой помру! Ни дать ни взять как вылитый. Тру-ру ру-ру-ру. Ах ты, зуда-жужелица, конская строка!

Дома она накинулась с упреками на сына, не в таких, мол, она летах, чтобы ее конопатый болван вихрастый с коника хлыстом учил по заду.

– Да что вы, ей-богу, маменька! Словно я, право, казачий сотник какой или шейх жандармов.

9

Николай Николаевич стоял у окна, когда показались бегущие. Он понял, что это с демонстрации, и некоторое время всматривался в даль, не увидит ли среди расходящихся Юры или еще кого-нибудь. Однако знакомых не оказалось, только раз ему почудилось, что быстро прошел этот (Николай Николаевич забыл его имя), сын Дудорова, отчаянный, у которого еще так недавно извлекли пулю из левого плеча и который опять околачивается где не надо.

Николай Николаевич приехал сюда осенью из Петербурга. В Москве у него не было своего угла, а в гостиницу ему не хотелось. Он остановился у Свентицких, своих дальних родственников. Они отвели ему угловой кабинет наверху в мезонине.

Этот двухэтажный флигель, слишком большой для бездетной четы Свентицких, покойные старики Свентицкие с незапамятных времен снимали у князей Долгоруких. Владение Долгоруких с тремя дворами, садом и множеством разбросанных в беспорядке разнотильных построек выходило в три переулка и называлось по-старинному Мучным городком.

Несмотря на свои четыре окна, кабинет был темноват. Его загромождали книги, бумаги, ковры и гравюры. К кабинету снаружи примыкал балкон, полукругом охватывавший этот угол здания. Двойная стеклянная дверь на балкон была наглухо заделана на зиму.

В два окна кабинета и стекла балконной двери переулок был виден в длину – убегающая вдаль санная дорога, криво расставленные домики, кривые заборы.

Из сада в кабинет тянулись лиловые тени. Деревья с таким видом заглядывали в комнату, словно хотели положить на пол свои ветки в тяжелом инее, похожем на сиреневые струйки застывшего стеарина.

Николай Николаевич глядел в переулок и вспоминал прошлогоднюю петербургскую зиму, Гапона, Горького, посещение Витте, модных современных писателей. Из этой кутерьмы он удрал сюда, в тишь да гладь Первопрестольной, писать задуманную им книгу. Куда там! Он попал из огня да в полымя. Каждый день лекции и доклады, не дадут опомниться. То на Высших женских, то в Религиозно-философском, то на Красный Крест, то в Фонд стачечного комитета. Забраться бы в Швейцарию, в глушь лесного кантона. Мир и ясность над озером, небо и горы, и звучный, всему вторящий, настороженный воздух.

Николай Николаевич отвернулся от окна. Его поманило в гости к кому-нибудь или просто так, без цели, на улицу. Но тут он вспомнил, что к нему должен прийти по делу толстовец Выволочнов и ему нельзя отлучаться. Он стал расхаживать по комнате. Мысли его обратились к племяннику.

Когда из приволжского захолустья Николай Николаевич переехал в Петербург, он привез Юру в Москву в родственный круг Веденяпиных, Остромысленских, Селявиных, Михелисов, Свентицких и Громеко. Для начала Юру водворили к безалаберному старику и пустомеле Остромысленскому, которого родня запросто величала Федькой. Федька негласно сожительствовал со своей воспитанницей Мотей и потому считал себя потрясателем основ, поборником идеи. Он не оправдал возложенного доверия и даже оказался нечистым на руку, тратя в свою пользу деньги, назначенные на Юрино содержание. Юру перевели в профессорскую семью Громеко, где он и по сей день находился.

У Громеко Юру окружала завидно благоприятная атмосфера.

«У них там такой триумвират, – думал Николай Николаевич, – Юра, его товарищ и одноклассник гимназист Гордон и дочь хозяев Тоня Громеко. Этот тройственный союз начинался „Смысла любви“ и „Крейцеровой сонаты“ и помешан на проповеди целомудрия.

Отрочество должно пройти через все неистовства чистоты. Но они пересаливают, у них заходит ум за разум.

Они страшные чудачки и дети. Область чувственного, которая их так волнует, они почему-то называют «пошлостью» и употребляют это выражение кстати и некстати. Очень неудачный выбор слова! «Пошлость» – это у них и голос инстинкта, и порнографическая литература, и эксплуатация женщины, и чуть ли не весь мир физического. Они краснеют и бледнеют, когда произносят это слово!

Если бы я был в Москве, – думал Николай Николаевич, – я бы не дал этому зайти так далеко. Стыд необходим, и в некоторых границах...»

– А, Нил Феокистович! Милости просим, – воскликнул он и пошел навстречу гостю.

10

В комнату вошел толстый мужчина в серой рубашке, подпоясанный широким ремнем. Он был в валенках, штаны пузырились у него на коленках. Он производил впечатление добряка, витающего в облаках. На носу у него злобно подпрыгивало маленькое пенсне на широкой черной ленте.

Разоблачаясь в прихожей, он не довел дело до конца. Он не снял шарфа, конец которого волочился у него по полу, и в руках у него осталась его круглая войлочная шляпа. Эти предметы стесняли его в движениях и не только мешали Выволочнову пожать руку Николаю Николаевичу, но даже выговорить слова приветствия, здороваясь с ним.

– Э-мм, – растерянно мычал он, осматриваясь по углам.

– Кладите где хотите, – сказал Николай Николаевич, вернув Выволочнову дар речи и самообладание.

Это был один из тех последователей Льва Николаевича Толстого, в головах которых мысли гения, никогда не знавшего покоя, улеглись вкушать долгий и неомраченный отдых и непоправимо мельчали.

Выволочнов пришел просить Николая Николаевича выступить в какой-то школе в пользу политических ссыльных.

– Я уже раз читал там.

– В пользу политических?

– Да.

– Придется еще раз.

Николай Николаевич поупрямился и согласился.

Предмет посещения был исчерпан. Николай Николаевич не удерживал Нила Феокистовича. Он мог подняться и уйти. Но Выволочнову казалось неприличным уйти так скоро.

На прощанье надо было сказать что-нибудь живое, непринужденное. Завязался разговор, натянутый и неприятный.

– Декадентствуете? Вдались в мистику?

– То есть это почему же?

– Пропал человек. Земство помните?

– А как же. Вместе по выборам работали.

– За сельские школы ратовали и учительские семинарии. Помните?

– Как же. Жаркие были бои. Вы потом, кажется, по народному здравью подвизались и общественному призрению. Не правда ли?

– Некоторое время.

– Нда. А теперь эти фавны и ненюфары, эфебы и «будем как солнце». Хоть убейте, не поверю. Чтобы умный человек с чувством юмора и таким знанием народа... Оставьте, пожалуйста... Или, может быть, я вторгаюсь... Что-нибудь сокровенное?

– Зачем бросать наудачу слова, не думая? О чем мы препираемся? Вы не знаете моих мыслей.

– России нужны школы и больницы, а не фавны и ненюфары.

– Никто не спорит.

– Мужик раздет и пухнет от голода...

Такими скачками подвигался разговор. Сознывая наперед никчемность этих попыток, Николай Николаевич стал объяснять, что его сближает с некоторыми писателями из символистов, а потом перешел к Толстому.

– До какой-то границы я с вами. Но Лев Николаевич говорит, что чем больше человек отдается красоте, тем больше отдаляется от добра.

– А вы думаете, что наоборот? Мир спасет красота, мистерии и тому подобное. Розанов и Достоевский?

– Погодите, я сам скажу, что я думаю. Я думаю, что, если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозой, все равно, каталажки или загробного воздаяния, высшей эмблемой человечества был бы цирковой укротитель с хлыстом, а не жертвующий собою проповедник. Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера. До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии – нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна.

– Ничего не понял. Вы бы об этом книгу написали.

Когда ушел Выволочнов, Николаем Николаевичем овладело страшное раздражение. Он был зол на себя за то, что выболтал чурбану Выволочнову часть своих заветных мыслей, не произведя на него ни малейшего впечатления. Как это иногда бывает, досада Николая Николаевича вдруг изменила направление. Он совершенно забыл о Выволочнове, словно его никогда не бывало. Ему припомнился другой случай. Он не вел дневников, но раз или два в году записывал в толстую общую тетрадь наиболее поразившие его мысли. Он вынул тетрадь и стал набрасывать крупным разборчивым почерком. Вот что он записал.

«Весь день вне себя из-за этой дуры Шлезингер. Приходит утром, засиживается до обеда и битых два часа томит чтением этой галиматши. Стихотворный текст символиста А. для космогонической симфонии композитора Б. с духами планет, голосами четырех стихий и прочая и прочая. Я терпел, терпел и не выдержал, взмолился, что, мол, не могу, увольте.

Я вдруг все понял. Я понял, отчего это всегда так убийственно нестерпимо и фальшиво даже в Фаусте. Это деланный, ложный интерес. Таких запросов нет у современного чело-

века. Когда его одолевают загадки Вселенной, он углубляется в физику, а не в гексаметры Гезиода.

Но дело не только в устарелости этих форм, в их анахронизме. Дело не в том, что эти духи огня и воды вновь неярко запутывают то, что ярко распутано наукою. Дело в том, что этот жанр противоречит всему духу нынешнего искусства, его существу, его побудительным мотивам.

Эти космогонии были естественны на старой земле, заселенной человеком так редко, что он не заслонял еще природы. По ней еще бродили мамонты и свежи были воспоминания о динозаврах и драконах. Природа так явно бросалась в глаза человеку и так хищно и ощутительно – ему в загривок, что, может быть, в самом деле все было еще полно богов. Это самые первые страницы летописи человечества, они только еще начинались.

Этот древний мир кончился в Риме от перенаселения.

Рим был толкучкою заимствованных богов и завоеванных народов, давкою в два яруса, на земле и на небе, свинством, захлестнувшимся вокруг себя тройным узлом, как заворот кишок. Даки, герулы, скифы, сарматы, гиперборейцы, тяжелые колеса без спиц, заплывшие от жира глаза, скотоложство, двойные подбородки, кормление рыбы мясом образованных рабов, неграмотные императоры. Людей на свете было больше, чем когда-либо впоследствии, и они были сдавлены в проходах Колизея и страдали.

И вот в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боги прекратились и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира».

11

Петровские линии производили впечатление петербургского уголка в Москве. Соответствие зданий по обеим сторонам проезда, лепные парадные в хорошем вкусе, книжная лавка, читальня, картографическое заведение, очень приличный табачный магазин, очень приличный ресторан, перед рестораном – газовые фонари в круглых матовых колпаках на массивных кронштейнах.

Зимой это место хмурилось с мрачной неприступностью. Здесь жили серьезные, уважающие себя и хорошо зарабатывающие люди свободных профессий.

Здесь снимал роскошную холостяцкую квартиру во втором этаже по широкой лестнице с широкими дубовыми перилами Виктор Ипполитович Комаровский. Заботливо во все вникающая и в то же время ни во что не вмешивающаяся Эмма Эрнестовна, его экономка, нет – кастелянша его тихого уединения, вела его хозяйство, неслышмая и незримая, и он платил ей рыцарской признательностью, естественной в таком джентльмене, и не терпел в квартире присутствия гостей и посетительниц, не совместимых с ее безмятежным стародевическим миром. У них царил покой монашеской обители – шторы опущены, ни пылинки, ни пятнышка, как в операционной.

По воскресеньям перед обедом Виктор Ипполитович имел обыкновение фланировать со своим бульдогом по Петровке и Кузнецкому, и на одном из углов выходил и присоединялся к ним Константин Илларионович Сатаниди, актер и картежник.

Они пускались вместе шлифовать панели, перекидывались короткими анекдотами и замечаниями – настолько отрывистыми, незначительными и полными такого презрения ко всему на свете, что без всякого ущерба могли бы заменить эти слова простым рычанием,

лишь бы наполнять оба тротуара Кузнецкого своими громкими, бесстыдно задыхающимися и как бы давящимися своей собственной вибрацией басами.

12

Погода перемогалась. «Кап-кап-кап» – долбили капли по железу водосточных труб и карнизов. Крыша перестукивалась с крышею, как весною. Была оттепель.

Всю дорогу она шла, как невменяемая, и только по приходе домой поняла, что случилось.

Дома все спали. Она опять впала в оцепенение и в этой рассеянности опустилась перед маминым туалетным столиком в светло-сиреновом, почти белом платье с кружевной отделкой и длинной вуали, взятыми на один вечер в мастерской, как на маскарад. Она сидела перед своим отражением в зеркале и ничего не видела. Потом положила скрещенные руки на столик и упала на них головою.

Если мама узнает, она убьет ее. Убьет и покончит с собой.

Как это случилось? Как могло это случиться? Теперь поздно. Надо было думать раньше.

Теперь она – как это называется? – теперь она – падшая. Она – женщина из французского романа и завтра пойдет в гимназию сидеть за одной партой с этими девочками, которые по сравнению с ней еще грудные дети. Господи, Господи, как это могло случиться!

Когда-нибудь, через много-много лет, когда можно будет, Лара расскажет это Оле Деминой. Оля обнимет ее за голову и разревется.

За окном лепетали капли, заговаривалась оттепель. Кто-то с улицы дубасил в ворота к соседям. Лара не поднимала головы. У нее вздрагивали плечи. Она плакала.

13

– Ах, Эмма Эрнестовна, это, милочка, неважно. Это надоело.

Он расшвыривал по ковру и дивану какие-то вещи, манжеты и манишки и вдвигал и выдвигал ящики комода, не соображая, что ему надо.

Она требовалась ему дозарезу, а увидеть ее в это воскресенье не было возможности. Он метался как зверь по комнате, нигде не находя себе места.

Она была бесподобна прелестью одухотворения. Ее руки поражали, как может удивлять высокий образ мыслей. Ее тень на обоях номера казалась силуэтом ее неиспорченности. Рубашка обтягивала ей грудь простодушно и туго, как кусок холста, натянутый на пальцы.

Комаровский барабанил пальцами по оконному стеклу, в такт лошадям, неторопливо цокавшим внизу по асфальту проезда. «Лара», – шептал он и закрывал глаза, и ее голова мысленно появлялась в руках у него, голова спящей с опущенными во сне ресницами, не ведающая, что на нее бессонно смотрят часами без отрыва. Шапка ее волос, в беспорядке разметанная по подушке, дымом своей красоты ела Комаровскому глаза и проникала в душу.

Его воскресная прогулка не удалась. Комаровский сделал с Джеком несколько шагов по тротуару и остановился. Ему представились Кузнецкий, шутки Сатаниди, встречный поток знакомых. Нет, это выше его сил! Как это все опротивело! Комаровский повернул назад. Собака удивилась, остановила на нем неодобрительный взгляд с земли и неохотно поплелась сзади.

«Что за наваждение! – думал он. – Что все это значит? Что это – проснувшаяся совесть, чувство жалости или раскаяния? Или это – беспокойство?» Нет, он знает, что она дома у себя и в безопасности. Так что же она не идет из головы у него!

Комаровский вошел в подъезд, дошел по лестнице до площадки и обогнул ее. На ней было венецианское окно с орнаментальными гербами по углам стекла. Цветные зайчики падали с него на пол и подоконник. На половине второго марша Комаровский остановился.

Не поддаваться этой мытарящей, сосущей тоске! Он не мальчик, он должен понимать, что с ним будет, если из средства развлечения эта девочка, дочь его покойного друга, этот ребенок, станет предметом его помешательства. Опомнись! Быть верным себе, не изменять своим привычкам. А то все полетит прахом.

Комаровский до боли сжал рукой широкие перила, закрыл на минуту глаза и, решительно повернув назад, стал спускаться. На площадке с зайчиками он перехватил обожающий взгляд бульдога. Джек смотрел на него снизу, подняв голову, как старый слюнтявый карлик с отвислыми щеками.

Собака не любила девушки, рвала ей чулки, рычала на нее и скалилась. Она ревновала хозяина к Ларе, словно боясь, как бы он не заразился от нее чем-нибудь человеческим.

– Ах, так вот оно что! Ты решил, что все будет по-прежнему – Сатаниди, подлости, анекдоты? Так вот тебе за это, вот тебе, вот тебе, вот тебе!

Он стал избивать бульдога тростью и ногами. Джек вырвался, воя и взвизгивая, и с трясущимся задом заковылял вверх по лестнице скрестись в дверь и жаловаться Эмме Эрнестовне.

Проходили дни и недели.

14

О какой это был заколдованный круг! Если бы вторжение Комаровского в Ларину жизнь возбуждало только ее отвращение, Лара взбунтовалась бы и вырвалась. Но дело было не так просто.

Девочке льстило, что годящийся ей в отцы красивый, сидящий мужчина, которому аплодируют в собраниях и о котором пишут в газетах, тратит деньги и время на нее, зовет божеством, возит в театры и на концерты и, что называется, «умственно развивает» ее.

И ведь она была еще невзрослою гимназисткой в коричневом платье, тайной участницей невинных школьных заговоров и проказ. Ловеласничанье Комаровского где-нибудь в карете под носом у кучера или в укромной аванложе на глазах у целого театра пленяло ее неразоблаченной дерзостью и побуждало просыпавшегося в ней бесенка к подражанию.

Но этот озорной, школьнический задор быстро проходил. Ноющая надломленность и ужас перед собой надолго укоренялись в ней. И все время хотелось спать. От недоспанных ночей, от слез и вечной головной боли, от заучивания уроков и общей физической усталости.

15

Он был ее проклятием, она его ненавидела. Каждый день она перебирала эти мысли заново.

Теперь она на всю жизнь его невольница. Чем он закабалил ее? Чем вымогает ее покорность, а она сдается, угождает его желаниям и услаждает его дрожью своего неприкрашенного позора? Своим старшинством, маминой денежной зависимостью от него, умелым ее, Лары, запугиванием? Нет, нет и нет. Все это вздор.

Не она в подчинении у него, а он у нее. Разве не видит она, как он томится по ней? Ей нечего бояться, ее совесть чиста. Стыдно и страшно должно быть ему, если она уличит его. Но в том-то и дело, что она никогда этого не сделает. На это у нее не хватит подлости, главной силы Комаровского в обращении с подчиненными и слабыми.

Вот в чем их разница. Этим и страшна жизнь кругом. Чем она оглушает, громом и молнией? Нет, косыми взглядами и шепотом оговора. В ней все подвох и двусмысленность. Отдельная нитка, как паутинка, потянул – и нет ее, а попробуй выбраться из сети – только больше запутаешься.

И над сильным властвует подлый и слабый.

16

Она говорила себе: а если бы она была замужем? Чем бы это отличалось? Она вступила на путь софизмов. Но иногда тоска без исхода охватывала ее.

Как ему не стыдно валяться в ногах у нее и умолять: «Так не может продолжаться. Подумай, что я с тобой сделал. Ты катишься по наклонной плоскости. Давай откроемся матери. Я женюсь на тебе».

И он плакал и настаивал, словно она спорила и не соглашалась. Но все это были одни фразы, и Лара даже не слушала этих трагических пустозвонных слов.

И он продолжал водить ее под длинную вуалью в отдельные кабинеты этого ужасного ресторана, где лакеи и закусывающие провожали ее взглядами и как бы раздевали. И она только спрашивала себя: разве когда любят, унижают?

Однажды ей снилось. Она под землей, от нее остался только левый бок с плечом и правая ступня. Из левого соска у нее растет пучок травы, а на земле поют «Черные очи да белая грудь» и «Не велят Маше за реченьку ходить».

17

Лара не была религиозна. В обряды она не верила. Но иногда для того, чтобы вынести жизнь, требовалось, чтобы она шла в сопровождении некоторой внутренней музыки. Такую музыку нельзя было сочинять для каждого раза самой. Этой музыкой было слово Божие о жизни, и плакать над ним Лара ходила в церковь.

Раз в начале декабря, когда на душе у Лары было, как у Катерины из «Грозы», она пошла помолиться с таким чувством, что вот теперь земля расступится под ней и обрушатся церковные своды. И поделом. И всему будет конец. Жаль только, что она взяла с собой Олю Демину, эту трещотку.

– Пров Афанасьевич, – шепнула ей Оля на ухо.

– Тсс. Отстань, пожалуйста. Какой Пров Афанасьевич?

– Пров Афанасьевич Соколов. Наш троюродный дядюшка. Который читает.

А, это она про псаломщика. Тиверзинская родня.

– Тсс. Замолчи. Не мешай мне, пожалуйста.

Они пришли к началу службы. Пели псалом: «Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его».

В церкви было пустовато и гулко. Лишь впереди тесной толпой сбились молящиеся. Церковь была новой стройки. Нерасцвеченное стекло оконницы ничем не скрашивало серого заснеженного переулка и прохожих и проезжих, которые по нему сновали. У этого окна стоял церковный староста и громко, на всю церковь, не обращая внимания на службу, вразумлял какую-то глуховатую юродивую оборванку, и его голос был того же казенного будничного образца, как окно и переулок.

Пока, медленно обходя молящихся, Лара с зажатыми в руке медяками шла к двери за свечками для себя и Оли и так же осторожно, чтобы никого не толкнуть, возвращалась назад, Пров Афанасьевич успел отбарабанить девять блаженств как вещь, и без него всем хорошо известную.

Блажени нищие духом... Блажени плачущие... Блажени алчущие и жаждущие правды...

Лара шла, вздрогнула и остановилась. Это про нее. Он говорит: завидна участь растоптанных. Им есть что рассказать о себе. У них все впереди. Так он считал. Это Христово мнение.

18

Были дни Пресни. Они оказались в полосе восстания. В нескольких шагах от них на Тверской строили баррикаду. Ее было видно из окна гостиной. С их двора таскали туда ведрами воду и обливали баррикаду, чтобы связать ледяной броней камни и лом, из которых она состояла.

На соседнем дворе было сборное место дружинников, что-то вроде врачебного или питательного пункта.

Туда проходили два мальчика. Лара знала обоих. Один был Ника Дудоров, приятель Нади, у которой Лара с ним познакомилась. Он был Лариного десятка – прямой, гордый и неразговорчивый. Он был похож на Лару и не был ей интересен.

Другой был реалист Антипов, живший у старухи Тиверзиной, бабушки Оли Деминой. Бывая у Марфы Гавриловны, Лара стала замечать, какое действие она производит на мальчика. Паша Антипов был так еще младенчески прост, что не скрывал блаженства, которое доставляли ему ее посещения, словно Лара была какая-нибудь березовая роща в каникулярное время – с чистою травой и облаками, и можно было беспрепятственно выражать свой телесный восторг по ее поводу, не боясь, что за это засмеют.

Едва заметив, какое она на него оказывает влияние, Лара бессознательно стала этим пользоваться. Впрочем, более серьезным приручением мягкого и податливого характера она занялась через несколько лет, в гораздо более позднюю пору своей дружбы с ним, когда Патуля уже знал, что любит ее без памяти и что в жизни ему нет больше отступления.

Мальчики играли в самую страшную и взрослую из игр, в войну, притом в такую, за участие в которой вешали и ссылали. Но концы башлыков были у них завязаны сзади такими узлами, что это обличало в них детей и обнаруживало, что у них есть еще папы и мамы. Лара смотрела на них, как большая на маленьких. Налет невинности лежал на их опасных забавах. Тот же отпечаток сообщался от них всему остальному. Морозному вечеру, поросшему таким косматым инеем, что вследствие густоты он казался не белым, а черным. Синему двору. Дому напротив, где скрывались мальчишки. И главное, главное – револьверным выстрелам, все время шелкавшим оттуда. «Мальчишки стреляют, – думала Лара. Она думала так не о Нике и Патуле, но обо всем стрелявшем городе. – Хорошие, честные мальчишки, – думала она. – Хорошие, оттого и стреляют».

19

Узнали, что по баррикаде могут открыть огонь из пушки и что их дом в опасности. О переходе куда-нибудь к знакомым в другую часть Москвы поздно было думать, их район был оцеплен. Надо было приискать угол поближе, внутри круга. Вспомнили о «Черногории».

Выяснилось, что они не первые. В гостинице все было занято. Многие оказались в их положении. По старой памяти их обещали устроить в бельевой.

Собрали самое необходимое в три узла, чтобы не привлекать внимания чемоданами, и стали со дня на день откладывать переход в гостиницу.

Ввиду патриархальных нравов, царивших в мастерской, в ней до последнего времени продолжали работать, несмотря на забастовку. Но вот как-то в холодные, скучные сумерки

с улицы позвонили. Вошел кто-то с претензиями и упреками. На парадное потребовали хозяйку. В переднюю унимать страсти вышла Фаина Силантьевна.

– Сюда, девоньки! – вскоре позвала она туда мастериц и по очереди стала всех представлять вошедшему.

Он с каждой отдельно поздоровался за руку прочувствованно и неуклюже и ушел, о чем-то уговорившись с Фетисовой.

Вернувшись в зал, мастерицы стали повязываться шальями и вскидывать руки над головами, продевая их в рукава тесных шубеек.

– Что случилось? – спросила подоспевшая Амалия Карловна.

– Нас сымают, мадам. Мы забастовали.

– Разве я... Что я вам сделала плохого? – Мадам Гишар расплакалась.

– Вы не расстраивайтесь, Амалия Карловна. У нас зла на вас нет, мы очень вами благодарны. Да ведь разговор не об вас и об нас. Так теперь у всех, весь свет. А нешто супротив него возможно?

Все разошлись до одной, даже Оля Демина и Фаина Силантьевна, шепнувшая на прощание хозяйке, что инсценирует эту стачку для пользы владелицы и заведения. А та не унималась:

– Какая черная неблагодарность! Подумай, как можно ошибаться в людях! Эта девчонка, на которую я потратила столько души! Ну хорошо, допустим, это ребенок. Но эта старая ведьма!

– Поймите, мамочка, они не могут сделать для вас исключения, – утешала ее Лара. – Ни у кого нет озлобления против вас. Наоборот. Все, что происходит сейчас кругом, делается во имя человека, в защиту слабых, на благо женщин и детей. Да, да, не качайте так недоверчиво головой. От этого когда-нибудь будет лучше мне и вам.

Но мать ничего не понимала.

– Вот так всегда, – говорила она, всхлипывая. – Когда мысли и без того путаются, ты ляпнешь что-нибудь такое, что только вылупишь глаза. Мне гадят на голову, и выходит, что это в моих интересах. Нет, верно, правда выжила я из ума.

Родя был в корпuse. Лара с матерью одни слонялись по пустому дому. Неосвещенная улица пустыми глазами смотрела в комнаты. Комнаты отвечали тем же взглядом.

– Пойдемте в номера, мамочка, пока не стемнело. Слышите, мамочка? Не откладывая, сейчас.

– Филат, Филат! – позвали они дворника. – Филат, проводи нас, голубчик, в «Черного-рию».

– Слушаюсь, барыня.

– Захватишь узлы, и вот что, Филат, присматривай тут, пожалуйста, пока суд да дело. И зерна и воду не забывай Кириллу Модестовичу. И все на ключ. Да, и, пожалуйста, навещайся к нам.

– Слушаюсь, барыня.

– Спасибо, Филат. Спаси тебя Христос. Ну, присядем на прощание, и с богом.

Они вышли на улицу и не узнали воздуха, как после долгой болезни. Морозное, как под орех разделанное пространство, легко перекатывало во все стороны круглые, словно на токарне выточенные, гладкие звуки. Чмокали, шмякали и шлепались залпы и выстрелы, расширяя дали в лепешку.

Сколько ни разуверял их Филат, Лара и Амалия Карловна считали эти выстрелы холостыми.

– Ты, Филат, дурачок. Ну ты сам посуди, как не холостые, когда не видно, кто стреляет. Кто же это, по-твоему, святой дух стреляет, что ли? Разумеется, холостые.

На одном из перекрестков их остановил сторожевой патруль. Их обыскали, нагло оглаживая их с ног до головы, ухмыляющиеся казаки. Бескозырки на ремешках были лихо сдвинуты у них на ухо. Все они казались одноглазыми.

Какое счастье! – думала Лара. Она не увидит Комаровского все то время, что они будут отрезаны от остального города! Она не может развязаться с ним благодаря матери. Она не может сказать: мама, не принимайте его. А то все откроется. Ну и что же? А зачем этого бояться? Ах, боже, да пропади все пропадом, только бы конец. Господи, Господи, Господи! Она сейчас упадет без чувств посреди улицы от омерзения. Что она сейчас вспомнила?! Как называлась эта страшная картина с толстым римлянином в том первом отдельном кабинете, с которого все началось? «Женщина или ваза». Ну как же. Конечно. Известная картина. «Женщина или ваза». И она тогда еще не была женщиной, чтобы равняться с такой драгоценностью. Это пришло потом. Стол был так роскошно сервирован.

– Куда ты как угорелая? Не угнаться мне за тобой, – плакала сзади Амалия Карловна, тяжело дыша и еле за ней поспевая.

Лара шла быстро. Какая-то сила несла ее, словно она шагала по воздуху, гордая, воодушевляющая сила.

«О как задорно щелкают выстрелы, – думала она. – Блаженны поруганные, блаженны оплетенные. Дай вам бог здоровья, выстрелы! Выстрелы, выстрелы, вы того же мнения!»

20

Дом братьев Громеко стоял на углу Сивцева Вражка и другого переуллка. Александр и Николай Александровичи Громеко были профессора химии, первый – в Петровской академии, а второй – в университете. Николай Александрович был холост, а Александр Александрович женат на Анне Ивановне, урожденной Крюгер, дочери фабриканта-железодельца и владельца заброшенных бездоходных рудников на принадлежавшей ему огромной лесной даче близ Юрятина на Урале.

Дом был двухэтажный. Верх со спальнями, классной, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнатами Тони и Юры был для жилья, а низ для приемов. Благодаря фиштакковым гардинам, зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похожим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, сонно колышущегося морского дна.

Громеко были образованные люди, хлебосолы и большие знатоки и любители музыки. Они собирали у себя общество и устраивали вечера камерной музыки, на которых исполнялись фортепианные трио, скрипичные сонаты и струнные квартеты.

В январе тысяча девятьсот шестого года, вскоре после отъезда Николая Николаевича за границу, в Сивцевом должно было состояться очередное камерное. Предполагалось сыграть новую скрипичную сонату одного начинающего из школы Танеева и трио Чайковского.

Приготовления начались накануне. Передвигали мебель, освобождая зал. В углу тянул по сто раз одну и ту же ноту и разбегался бисерными арпеджиями настройщик. На кухне щипали птицу, чистили зелень и растирали горчицу на прованском масле для соусов и салатов.

С утра пришла надоедать Шура Шлезингер, закадычный друг Анны Ивановны, ее поверенная.

Шура Шлезингер была высокая худощавая женщина с правильными чертами немного мужского лица, которым она несколько напоминала государя, особенно в своей серой каракулевой шапке набекрень, в которой она оставалась в гостях, лишь слегка приподнимая приколотую к ней вуальку.

В периоды горестей и хлопот беседы подруг приносили им обоюдное облегчение. Облегчение это заключалось в том, что Шура Шлезингер и Анна Ивановна говорили друг другу колкости все более язвительного свойства. Разыгрывалась бурная сцена, быстро кончавшаяся слезами и примирением. Эти регулярные ссоры успокоительно действовали на обеих, как пиявки от прилива крови.

Шура Шлезингер была несколько раз замужем, но забывала мужей тотчас по разводе и придавала им так мало значения, что во всех своих повадках сохраняла холодную подвижность одинокой.

Шура Шлезингер была теософка, но вместе с тем так превосходно знала ход православного богослужения, что даже *toute transportée*¹, в состоянии полного экстаза не могла утерпеть, чтобы не подсказывать священнослужителям, что им говорить или петь. «Услыши, Господи», «иже на всякое время», «честнейшую херувим», – все время слышалась ее хриплая срывающаяся скороговорка.

Шура Шлезингер знала математику, индийское тайноведение, адреса крупнейших профессоров Московской консерватории, кто с кем живет, и бог ты мой, чего она только не знала. Поэтому ее приглашали судьей и распорядительницей во всех серьезных случаях жизни.

В назначенный час гости стали съезжаться. Приехали Аделаида Филипповна, Гинц, Фуфковы, господин и госпожа Басурман, Вержицкие, полковник Кавказцев. Шел снег, и когда отворяли парадное, воздух путано неся мимо, весь словно в узелках от мелькания больших и малых снежинок. Мужчины входили с холода в болтающихся на ногах глубоких ботинках и поголовно корчили из себя рассеянных и неуклюжих увальней, а их посвежевшие на морозе жены в расстегнутых на две верхних пуговицы шубках и сбившихся назад пуховых платках на заиндеветых волосах, наоборот, изображали прожженных шелм, само коварство, пальца в рот не кладут. «Племянник Кюи», – пронесся шепот, когда приехал новый, в первый раз в этот дом приглашенный пианист.

Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, как зимняя дорога, накрытый стол в столовой. В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистой гранью. Воображение пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на серебряных подставках, и живописность дичи и закусок, и даже сложенные пирамидками салфетки, стойком увенчивавшие каждый прибор, и пахнувшие миндалем синелиловые цинерарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит. Чтобы не отдалять желанного мига вкушения земной пищи, поторопились как можно скорее обратиться к духовной. Расселись в зале рядами. «Племянник Кюи», – возобновился шепот, когда пианист занял свое место за инструментом. Концерт начался.

Про сонату знали, что она скучная и вымученная, головная. Она оправдала ожидания, да к тому же еще оказалась страшно растянутой.

Об этом в перерыве спорили критик Керимбеков с Александром Александровичем. Критик ругал сонату, а Александр Александрович защищал. Кругом курили и шумели, передвигая стулья с места на место.

Но опять взгляды упали на сиявшую в соседней комнате глаженую скатерть. Все предложили продолжать концерт без промедления.

Пианист покосился на публику и кивнул партнерам, чтобы начинали. Скрипач и Тышкевич взмахнули смычками. Трио зарыдало.

Юра, Тоня и Миша Гордон, который полжизни проводил теперь у Громеко, сидели в третьем ряду.

– Вам Егоровна знаки делает, – шепнул Юра Александру Александровичу, сидевшему прямо перед его стулом.

¹ В восторге. (Здесь и далее с французского.)

На пороге зала стояла Аграфена Егоровна, старая седая горничная семьи Громеко, и отчаянными взглядами в Юрину сторону и столь же решительными вымахами головы в сторону Александра Александровича давала Юре понять, что ей срочно надо хозяина.

Александр Александрович повернул голову, укоризненно взглянул на Егоровну и пожал плечами. Но Егоровна не унималась. Вскоре между ними из одного конца зала в другой завязалось объяснение, как между глухонемыми. В их сторону смотрели. Анна Ивановна метала на мужа уничтожающие взгляды.

Александр Александрович встал. Надо было что-нибудь предпринять. Он покраснел, тихо под углом обошел зал и подошел к Егоровне.

– Как вам не стыдно, Егоровна! Что это вам, право, приспичило? Ну, скорее, что случилось?

Егоровна что-то зашептала ему.

– Из какой Черногории?

– Номера.

– Ну так что же?

– Безотлагательно требуют. Какие-то ихние кончаются.

– Уж и кончаются. Воображаю. Нельзя, Егоровна. Вот доиграют кусочек, и скажу. А раньше нельзя.

– Номерной дожидается. И то же самое извозчик. Я вам говорю, помирает человек, понимаете? Господского звания дама.

– Нет и нет. Великое дело пять минут, подумаешь.

Александр Александрович тем же тихим шагом вдоль стены вернулся на свое место и сел, хмурясь и растирая переносицу.

После первой части он подошел к исполнителям и, пока гремели рукоплескания, сказал Фадею Казимировичу, что за ним приехали, какая-то неприятность и музыку придется прекратить. Потом движением ладоней, обращенных к залу, Александр Александрович остановил аплодисменты и громко сказал:

– Господа. Трио придется приостановить. Выразим сочувствие Фадею Казимировичу. У него огорчение. Он вынужден нас покинуть. В такую минуту мне не хотелось бы оставлять его одного. Мое присутствие, может быть, будет ему необходимо. Я поеду с ним. Юрочка, выйди, голубчик, скажи, чтобы Семен подавал к подъезду, у него давно заложено. Господа, я не прощаюсь. Всех прошу оставаться. Отсутствие мое будет кратковременно.

Мальчики запросились прокатиться с Александром Александровичем ночью по морозу.

21

Несмотря на нормальное течение восстановившейся жизни, после декабря все еще постреливали где-нибудь, и новые пожары, какие бывают постоянно, казались догорающими остатками прежних.

Никогда еще они не ехали так далеко и долго, как в эту ночь. Это было рукой подать – Смоленский, Новинский и половина Садовой. Но зверский мороз с туманом разобщал отдельные куски свихнувшегося пространства, точно оно было не одинаковое везде на свете. Косматый, рваный дым костров, скрип шагов и визг полозьев способствовали впечатлению, будто они едут уже бог знает как давно и заехали в какую-то ужасающую даль.

Перед гостиницей стояла накрытая попоной лошадь с забинтованными бабками, впряженная в узкие щегольские сани. На месте для седоков сидел лихач, облапив замотанную голову руками в рукавицах, чтобы согреться.

В вестибюле было тепло, и за перилами, отделявшими вешалку от входа, дремал, громко всхрапывая и сам себя этим будил швейцар, усыпленный шумом вентилятора, гудением топящейся печки и свистом кипящего самовара.

Налево в вестибюле перед зеркалом стояла накрашенная дама с пухлым, мучнистым от пудры лицом. На ней был меховой жакет, слишком воздушный для такой погоды. Дама кого-то дожидалась сверху и, повернувшись спиной к зеркалу, оглядывала себя то через правое, то через левое плечо, хороша ли она сзади.

В дверь с улицы просунулся озябший лихач. Формою кафтана он напоминал какой-то крендель с вывески, а валивший от него клубами пар еще усиливал это сходство.

– Скоро ли они там, мамзель? – спросил он даму у зеркала. – С вашим братом свяжешься, только лошадь студить.

Случай в двадцать четвертом был мелочью в обычном каждодневном озлоблении прислуги. Каждую минуту дребезжали звонки и вылетали номерки в длинном стеклянном ящике на стене, указуя, где и под каким номером сходят с ума и, сами не зная, чего хотят, не дают покоя коридорным.

Теперь эту старую дуру Гишарову отпаивали в двадцать четвертом, давали ей рвотного и полоскали кишки и желудок. Горничная Глаша сбилась с ног, подтирая там пол и вынося грязные и внося чистые ведра. Но нынешняя буря в официантской началась задолго до этой суматохи, когда еще ничего не было в помине и не посылали Терешку на извозчике за доктором и за этою несчастною пиликалкой, когда не приезжал еще Комаровский и в коридоре перед дверью не толклось столько лишнего народа, затрудняя движение.

Сегодняшний сыр-бор загорелся в людской оттого, что днем кто-то неловко повернулся в узком проходе из буфетной и нечаянно толкнул официанта Сысою в тот самый момент, когда он, изогнувшись, брал разбег из двери в коридор с полным подносом на правой, поднятой кверху руке. Сысой грохнул поднос, пролил суп и разбил посуду, три глубокие тарелки и одну мелкую.

Сысой утверждал, что это судомойка, с нее и спрос, с нее и вычет. Теперь была ночь, одиннадцатый час, половине скоро расходиться с работы, а у них до сих пор все еще шла по этому поводу перепалка.

– Руки-ноги дрожат, только и забот – день и ночь обнявшись с косушкой, как с женой; нос себе налакал инда как селезень, а потом – зачем толкали его, побили ему посуду, пролили уху! Да кто тебя толкал, косой черт, нечистая сила? Кто толкал тебя, грыжа астраханская, бесстыжие глаза?

– Я вам сказывал, Матрена Степановна, – придерживайтесь выраженьев.

– Добро бы что-нибудь стоящее, ради чего шум и посуду бить, а то какая невидаль, мадам Продам, недотрога бульварная, от хороших дедов мышьякухватила, отставная невинность. В черногорских номерах пожили, не видали шилохвосток и кобелей.

Миша и Юра похаживали по коридору перед дверью номера. Все ведь вышло не так, как предполагал Александр Александрович. Он представлял себе – виолончелист, трагедия, что-нибудь достойное и чистоплотное. А это черт знает что. Грязь, скандальное что-то и абсолютно не для детей.

Мальчики топтались в коридоре.

– Вы войдите к тетеньке, молодые господа, – во второй раз неторопливым тихим голосом убеждал подошедший к мальчикам коридорный. – Вы войдите, не сумлевайтесь. Они ничего, будьте покойны. Они теперь в полной цельности. А тут нельзя стоять. Тут нынче было несчастье, кокнули дорогую посуду. Видите – обслуживаем, бегаем, теснота. Вы войдите.

Мальчики послушались.

В номере горящую керосиновую лампу вынули из резервуара, в котором она висела над обеденным столом, и перенесли за дощатую перегородку, вонявшую клопами, на другую половину номера.

Там был спальный закоулок, отделенный от передней и посторонних взоров пыльной откидной портьерой. Теперь в переполохе ее забывали опускать. Ее пола была закинута за верхний край перегородки. Лампа стояла в алькове на скамье. Этот угол был резко озарен снизу словно светом театральной рампы.

Травились йодом, а не мышьяком, как ошибочно язвила судомойка. В номере стоял терпкий, вязущий запах молодого грецкого ореха в неотверделой зеленой коже, чернеющей от прикосновения.

За перегородкой девушка подтирала пол и, громко плача и свесив над тазом голову с прядями слипшихся волос, лежала на кровати мокрая от воды, слез и пота полуголая женщина. Мальчики тотчас же отвели глаза в сторону, так стыдно и непорядочно было смотреть туда. Но Юру успело поразить, как в некоторых неудобных, вздыбленных позах, под влиянием напряжений и усилий, женщина перестает быть тем, чем ее изображает скульптура, и становится похожа на обнаженного борца с шарообразными мускулами в коротких штанах для состязания.

Наконец-то за перегородкой догадались опустить занавеску.

– Фадей Казимирович, милый, где ваша рука? Дайте мне вашу руку, – давась от слез и тошноты, говорила женщина. – Ах, я перенесла такой ужас! У меня были такие подозрения! Фадей Казимирович... Мне вообразилось... Но по счастью оказалось, что все это глупости, мое расстроенное воображение. Фадей Казимирович, подумайте, какое облегчение! И в результате... И вот... И вот я жива.

– Успокойтесь, Амалия Карловна, умоляю вас, успокойтесь. Как это все неудобно получилось, честное слово, неудобно.

– Сейчас поедем домой, – буркнул Александр Александрович, обращаясь к детям.

Пропадая от неловкости, они стояли в темной прихожей, на пороге неотгороженной части номера и, так как им некуда было девать глаза, смотрели в его глубину, откуда унесена была лампа. Там стены были увешаны фотографиями, стояла этажерка с нотами, письменный стол был завален бумагами и альбомами, а по ту сторону обеденного стола, покрытого вязаной скатертью, спала сидя девушка в кресле, обвив руками его спинку и прижавшись к ней щекой. Наверное, она смертельно устала, если шум и движение кругом не мешали ей спать.

Их приезд был бессмыслицей, их дальнейшее присутствие здесь – неприличием.

– Сейчас поедем, – еще раз повторил Александр Александрович. – Вот только Фадей Казимирович выйдет. Я прощусь с ним.

Но вместо Фадея Казимировича из-за перегородки вышел кто-то другой. Это был плотный, бритый, осанистый и уверенный в себе человек. Над головою он нес лампу, вынутую из резервуара. Он прошел к столу, за которым спала девушка, и вставил лампу в резервуар. Свет разбудил девушку. Она улыбнулась вошедшему, прищурилась и потянулась.

При виде незнакомца Миша весь встрепенулся и так и впился в него глазами. Он дергал Юру за рукав, пытаясь что-то сказать ему.

– Как тебе не стыдно шептаться у чужих? Что о тебе подумают? – останавливал его Юра и не желал слушать.

Тем временем между девушкой и мужчиной происходила немая сцена. Они не сказали друг другу ни слова и только обменивались взглядами. Но взаимное понимание их было пугающе волшебным, словно он был кукольником, а она послушною движением его руки марионеткой.

Улыбка усталости, появившаяся у нее на лице, заставляла девушку полузакрывать глаза и наполовину разжимать губы. Но на насмешливые взгляды мужчины она отвечала лукавым подмигиванием сообщницы. Оба были довольны, что все обошлось так благополучно, тайна не раскрыта и травившаяся осталась жива.

Юра пожирал обоих глазами. Из полутьмы, в которой никто не мог его видеть, он смотрел не отрываясь в освещенный лампою круг. Зрелище порабощения девушки было неисповедимо таинственно и беззастенчиво откровенно. Противоречивые чувства теснились в груди у него. У Юры сжималось сердце от их неиспытанной силы.

Это было то самое, о чем они так горячо год продолжали с Мишей и Тоней под ничего не значащим именем пошлости, то пугающее и притягивающее, с чем они так легко справлялись на безопасном расстоянии на словах, и вот эта сила находилась перед Юриными глазами, досконально вещественная и смутная и сняющаяся, безжалостно разрушительная и жалующаяся и зовущая на помощь, и куда девалась их детская философия и что теперь Юре делать?

– Знаешь, кто этот человек? – спросил Миша, когда они вышли на улицу. Юра был погружен в свои мысли и не отвечал. – Это тот самый, который спаивал и погубил твоего отца. Помнишь, в вагоне, – я тебе рассказывал.

Юра думал о девушке и будущем, а не об отце и прошлом. В первый момент он даже не понял, что говорит ему Миша. На морозе было трудно разговаривать.

– Замерз, Семен? – спросил Александр Александрович.

Они поехали.

Часть третья Елка у Свентицких

1

Как-то зимой Александр Александрович подарил Анне Ивановне старинный гардероб. Он купил его по случаю. Гардероб черного дерева был огромных размеров. Целиком он не входил ни в какую дверь. Его привезли в разобранном виде, внесли по частям в дом и стали думать, куда бы его поставить. В нижние комнаты, где было просторнее, он не годился по несоответствию назначения, а наверху не помещался вследствие тесноты. Для гардероба освободили часть верхней площадки на внутренней лестнице у входа в спальню хозяев.

Собирать гардероб пришел дворник Маркел. Он привел с собой шестилетнюю дочь Марийку. Марийке дали палочку ячменного сахара. Марийка засопела носом и, облизывая леденец и заслужившие пальчики, насупленно смотрела на отцову работу.

Некоторое время все шло как по маслу. Шкап постепенно вырастал на глазах у Анны Ивановны. Вдруг, когда только осталось наложить верх, ей вздумалось помочь Маркелу. Она стала на высокое дно гардероба и, покачнувшись, толкнула боковую стенку, державшуюся только на пазовых шипах. Распускной узел, которым Маркел стянул наскоро борта, разошелся. Вместе с досками, грохнувшимися на пол, упала на спину и Анна Ивановна и при этом больно расшиблась.

– Эх, матушка-барыня, – приговаривал кинувшийся к ней Маркел, – и чего ради это вас угораздило, сердешная. Кость-то целая? Вы пощупайте кость. Главное дело кость, а мякиш наплевать, мякиш дело наживное и, как говорится, только для дамского блезиру. Да не реви ты, ирод, – напускался он на плакавшую Марийку. – Утри сопли да ступай к мамке. Эх, матушка-барыня, нужли б я без вас этой платейной антимонии не обосновал? Вот вы, верно, думаете, будто на первый взгляд я действительно дворник, а ежели правильно рассудить, то природная наша статья столярная, столярничали мы. Вы не поверите, что этой мебели, этих шкапов-буфетов, через наши руки прошло в смысле лака или, наоборот, какое дерево красное, какое орех. Или, например, какие, бывало, партии в смысле богатых невест, так, извините за выражение, мимо носа и плывут, так и плывут. А всему причина – питейная статья, крепкие напитки.

Анна Ивановна с помощью Маркела добралась до кресла, которое он ей подкатил, и села, крихтя и растирая ушибленное место. Маркел принялся за восстановление разрушенного. Когда крышка была наложена, он сказал:

– Ну, теперь только дверцы, и хоть на выставку.

Анна Ивановна не любила гардероба. Видом и размерами он походил на катафалк или царскую усыпальницу. Он внушал ей суеверный ужас. Она дала гардеробу прозвище «Аскольдова могила». Под этим названием Анна Ивановна разумела Олегова коня, вещь, приносящую смерть своему хозяину. Как женщина беспорядочно начитанная, Анна Ивановна путала смежные понятия.

С этого падения началось предрасположение Анны Ивановны к легочным заболеваниям.

2

Весь ноябрь одиннадцатого года Анна Ивановна пролежала в постели. У нее было воспаление легких.

Юра, Миша Гордон и Тоня весной следующего года должны были окончить университет и Высшие женские курсы. Юра кончал медиком, Тоня – юристкой, а Миша – филологом по философскому отделению.

В Юриной душе все было сдвинуто и перепутано, и все резко самобытно – взгляды, навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен, новизна его восприятий не поддавалась описанию.

Но как ни велика была его тяга к искусству и истории, Юра не затруднялся выбором поприща. Он считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может быть профессией прирожденная веселость или склонность к меланхолии. Он интересовался физикой, естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общепользным. Вот он и пошел по медицине.

Будучи четыре года тому назад на первом курсе, он целый семестр занимался в университетском подzemелье анатомией на трупах. Он по загибающейся лестнице спускался в подвал. В глубине анатомического театра группами и порознь толпились вздохмаченные студенты. Одни зубрили, обложившись костями и перелистывая трепанные, истлевшие учебники, другие молча анатомировали по углам, третьи балагурили, отпускали шутки и гонялись за крысами, в большом количестве бежавшими по каменному полу мертвецкой. В ее полутьме светились, как фосфор, бросающиеся в глаза голизною трупы неизвестных, молодые самоубийцы с неустановленной личностью, хорошо сохранившиеся и еще не тронувшиеся утопленницы. Впрыснутые в них соли глинозема молодили их, придавая им обманчивую округлость. Мертвецов вскрывали, разнимали и препарировали, и красота человеческого тела оставалась верной себе при любом, сколь угодно мелком делении, так что удивление перед какой-нибудь целиком грубо брошенной на оцинкованный стол русалкою не проходило, когда переносилось с нее к ее отнятой руке или отсеченной кисти. В подвале пахло формалином и карболкой, и присутствие тайны чувствовалось во всем, начиная с неизвестной судьбы всех этих простертых тел и кончая самой тайной жизни и смерти, располагавшейся здесь, в подвале, как у себя дома или как на своей штаб-квартире.

Голос этой тайны, заглушая все остальное, преследовал Юру, мешая ему при анатомировании. Но точно так же мешало ему многое в жизни. Он к этому привык, и отвлекающая помеха не беспокоила его.

Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделялся вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине.

Этим стихам Юра прощал грех их возникновения за их энергию и оригинальность. Эти два качества, энергии и оригинальности, Юра считал представителями реальности в искусствах, во всем остальном беспредметных, праздных и ненужных.

Юра понимал, насколько он обязан дяде общими свойствами своего характера. Николай Николаевич жил в Лозанне. В книгах, выпущенных им там по-русски и в переводах, он развивал свою давнишнюю мысль об истории как о второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти. Душою этих книг было по-новому понятое христианство, их прямым следствием – новая идея искусства.

Еще больше, чем на Юру, действовал круг этих мыслей на его приятеля. Под их влиянием Миша Гордон избрал своей специальностью философию. На своем факультете он слушал лекции по богословию и даже подумывал о переходе впоследствии в духовную академию.

Юру дядино влияние двигало вперед и освобождало, а Мишу – сковывало. Юра понимал, какую роль в крайностях Мишиных увлечений играет его происхождение. Из бережной

тактичности он не отговаривал Мишу от его странных планов. Но часто ему хотелось видеть Мишу эмпириком, более близким к жизни.

3

Как-то вечером в конце ноября Юра вернулся из университета поздно, очень усталый и целый день не евши. Ему сказали, что днем была страшная тревога, у Анны Ивановны сделались судороги, съехалось несколько врачей, советовали послать за священником, но потом эту мысль оставили. Теперь ей лучше, она в сознании и велела, как только придет Юра, безотлагательно прислать его к ней.

Юра послушался и, не переодеваясь, прошел в спальню.

Комната носила следы недавнего переполоха. Сиделка бесшумными движениями перекладывала что-то на тумбочке. Кругом валялись скомканные салфетки и сырые полотенца из-под компрессов. Вода в полоскательнице была слегка розовата от сплюнутой крови. В ней валялись осколки стеклянных ампул с отломанными горлышками и взбухшие от воды клочки ваты.

Больная плавала в поту и кончиком языка облизывала сухие губы. Она резко осунулась с утра, когда Юра видел ее в последний раз. «Не ошибка ли в диагнозе? – подумал он. – Все признаки крупозного. Кажется, это кризис».

Поздоровавшись с Анною Ивановной и сказав что-то ободряюще-пустое, что говорится всегда в таких случаях, он выслал сиделку из комнаты. Взяв Анну Ивановну за руку, чтобы сосчитать пульс, он другой рукой полез в тужурку за стетоскопом. Движением головы Анна Ивановна показала, что это лишнее. Юра понял, что ей нужно от него что-то другое. Собравшись с силами, Анна Ивановна заговорила:

– Вот, исповедовать хотели... Смерть нависла... Может каждую минуту... Зуб идешь рвать, боишься, больно, готовишься... А тут не зуб, всю, всю тебя, всю жизнь... хруп, и вон, как щипцами... А что это такое?.. Никто не знает... И мне тоскливо и страшно.

Анна Ивановна замолчала. Слезы градом катились у нее по щекам. Юра ничего не говорил. Через минуту Анна Ивановна продолжала:

– Ты талантливый... А талант, это... не как у всех... Ты должен что-то знать... Скажи мне что-нибудь... Успокой меня.

– Ну что же мне сказать, – ответил Юра, беспокойно заерзал по стулу, встал, прошелся и снова сел. – Во-первых, завтра вам станет лучше – есть признаки, даю вам голову на отсечение. А затем – смерть, сознание, вера в воскресение... Вы хотите знать мое мнение естествознателя? Может быть, как-нибудь в другой раз? Нет? Немедленно? Ну как знаете. Только это ведь трудно так, сразу.

И он прочел ей экспромтом целую лекцию, сам удивляясь, как это у него вышло.

– Воскресение. В той грубейшей форме, как это утверждается для утешения слабейших, это мне чуждо. И слова Христа о живых и мертвых я понимал всегда по-другому. Где вы разместите эти полчища, набранные по всем тысячелетиям? Для них не хватит вселенной, и Богу, добру и смыслу придется убраться из мира. Их задавят в этой жадной животной толчее.

Но все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили.

Будет ли вам больно, ощущает ли ткань свой распад? То есть, другими словами, что будет с вашим сознанием? Но что такое сознание? Рассмотрим. Сознательно желать уснуть – верная бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения – верное расстройство его иннервации. Сознание – яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание – свет, бьющий наружу, сознание

освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Сознание – это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь, и случится катастрофа.

Итак, что будет с вашим сознанием? Вашим. Вашим. А что вы такое? В этом вся загвоздка. Разберемся. Чем вы себя помните, какую часть сознавали из своего состава? Свои почки, печень, сосуды? Нет, сколько ни припомните, вы всегда заставляли себя в наружном, деятельном проявлении, в делах ваших рук, в семье, в других. А теперь повнимательнее. Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего.

Наконец, последнее. Не о чем беспокоиться. Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали – талант, это другое дело, это наше, это открыто нам. А талант – в высшем широчайшем понятии – есть дар жизни.

Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. Смерти не будет, потому что прежнее прошло. Это почти как: смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная.

Он расхаживал по комнате, говоря это.

– Усните, – сказал он, подойдя к кровати и положив руки на голову Анны Ивановны. Прошло несколько минут. Анна Ивановна стала засыпать.

Юра тихо вышел из комнаты и сказал Егоровне, чтобы она послала в спальню сиделку. «Черт знает что, – думал он, – я становлюсь каким-то шарлатаном. Заговариваю, лечу наложением рук».

На другой день Анне Ивановне стало лучше.

4

Анне Ивановне становилось все легче и легче. В середине декабря она попробовала встать, но была еще очень слаба. Ей советовали хорошенько вылежаться.

Она часто посылала за Юрой и Тоней и часами рассказывала им о своем детстве, проведенном в дедушкином имении Варыкине, на уральской реке Рыньве. Юра и Тоня никогда там не бывали, но Юра легко со слов Анны Ивановны представлял себе эти пять тысяч десятин векового, непроходимого леса, черного как ночь, в который в двух-трех местах вонзается, как бы пырнув его ножом своих изгибов, быстрая река с каменистым дном и высокими кручами по Крюгеровскому берегу.

Юре и Тоне в эти дни шили первые в их жизни выходные платья. Юре – черную сюртучную пару, а Тоне – вечерний туалет из светлого атласа с чуть-чуть открытой шеей. Они собирались обновить эти наряды двадцать седьмого, на традиционной ежегодной елке у Свентицких.

Заказ из мужской мастерской и от портнихи принесли в один день. Юра и Тоня примерили, остались довольны и не успели снять обнов, как пришла Егоровна от Анны Ивановны и сказала, что она зовет их. Как были в новых платьях, Юра и Тоня прошли к Анне Ивановне.

При их появлении она поднялась на локте, посмотрела на них сбоку, велела повернуться и сказала:

– Очень хорошо. Просто восхитительно. Я совсем не знала, что уже готово. А ну-ка, Тоня, еще раз. Нет, ничего. Мне показалось, что мысок немного морщит. Знаете, зачем я вас звала? Но сначала несколько слов о тебе, Юра.

– Я знаю, Анна Ивановна. Я сам велел показать вам это письмо. Вы, как Николай Николаевич, считаете, что мне не надо было отказываться. Минуту терпения. Вам вредно разговаривать. Сейчас я вам все объясню. Хотя ведь и вам все это хорошо известно.

Итак, во-первых. Есть дело о живаговском наследстве для прокормления адвокатов и взимания судебных издержек, но никакого наследства в действительности не существует, одни долги и путаница, да еще грязь, которая при этом всплывает. Если бы что-нибудь можно было обратить в деньги, неужто же я подарил бы их суду и ими не воспользовался? Но в том-то и дело, что тяжба – дутая, и чем во всем этом копаться, лучше было отступить от своих прав на несуществующее имущество и уступить его нескольким подставным соперникам и завистливым самозванцам. О посягательствах некой Madame Alice, проживающей с детьми под фамилией Живаго в Париже, я слышал давно. Но прибавились новые притязания, и не знаю, как вы, но мне все это открыли совсем недавно.

Оказывается, еще при жизни мамы отец увлекался одной мечтательницей и сумасбродкой, княгиней Столбуновой-Энрици. У этой особы от отца есть мальчик, ему теперь десять лет, его зовут Евграф.

Княгиня – затворница. Она безвыездно живет с сыном в своем особняке на окраине Омска на неизвестные средства. Мне показывали фотографию особняка. Красивый пятиконный дом с цельными окнами и лепными медальонами по карнизу. И вот все последнее время у меня такое чувство, будто своими пятью окнами этот дом недобрым взглядом смотрит на меня через тысячи верст, отделяющие Европейскую Россию от Сибири, и рано или поздно меня сглазит. Так на что мне это все: выдуманные капиталы, искусственно созданные соперники, их недоброжелательство и зависть? И адвокаты.

– И все-таки не надо было отказываться, – возразила Анна Ивановна. – Знаете, зачем я вас звала, – снова повторила она и тут же продолжала: – Я вспомнила его имя. Помните, я вчера про лесника рассказывала? Его звали Вакх. Не правда ли, бесподобно? Черное лесное страшилище, до бровей заросшее бородой, и – Вакх! Он был с изуродованным лицом, его медведь драл, но он отбил. И там все такие. С такими именами. Односложными. Чтобы было звучно и выпукло. Вакх. Или Лупп. Или, предположим, Фавст. Слушайте, слушайте. Бывало, доложат что-нибудь такое. Авкт или там Фрол какой-нибудь, как залп из обоих дедушкиных охотничьих стволов, и мы гурьбой моментально шмыг из детской на кухню. А там, можете себе представить, лесовик-угольщик с живым медвежонком или обходчик с дальнего кордона с пробой ископаемого. И дедушка всем по записочке. В контору. Кому денег, кому крупы, кому оружейных припасов. И лес перед окнами. А снегу, снегу! Выше дома! – Анна Ивановна закашлялась.

– Перестань, мама, тебе вредно так, – предостерегла Тоня. Юра поддержал ее.

– Ничего. Ерунда. Да, кстати. Егоровна насплетничала, будто бы вы сомневаетесь, ехать ли вам послезавтра на елку. Чтобы я больше этих глупостей не слышала! Как вам не стыдно. И какой ты, Юра, после этого врач? Итак, решено. Вы едете без разговоров. Но вернемся к Вакху. Этот Вакх был в молодости кузнецом. Ему в драке отбили внутренности. Он сделал себе другие, из железа. Какой ты чудак, Юра. Неужели я не понимаю? Понятно, не буквально. Но так народ говорил.

Анна Ивановна снова закашлялась, на этот раз гораздо дольше. Приступ не проходил. Она все не могла отдышаться.

Юра и Тоня подбежали к ней в одну и ту же минуту. Они стали плечом к плечу у ее постели. Продолжая кашлять, Анна Ивановна схватила их соприкоснувшиеся руки в свои и некоторое время продержала соединенными. Потом, овладев голосом и дыханием, сказала:

– Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг для друга. Поженитесь. Вот я и огорчила вас, – прибавила она и заплакала.

5

Уже весной тысяча девятьсот шестого года, перед переходом в последний класс гимназии, шесть месяцев ее связи с Комаровским превысили меру Лариного терпения. Он очень ловко пользовался ее подавленностью и, когда ему бывало нужно, не показывая этого, тонко и незаметно напоминал ей о ее поругании. Эти напоминания приводили Лару в то именно смятение, которое требуется сластолюбцу от женщины. Смятение это отдавало Лару во все больший плен чувственного кошмара, от которого у нее вставали волосы дыбом при отрезвлении. Противоречия ночного помешательства были необъяснимы, как чернокнижье. Тут все было шиворот-навыворот и противно логике, острая боль заявляла о себе раскатами серебряного смеха, борьба и отказ означали согласие, и руку мучителя покрывали поцелуями благодарности.

Казалось, этому не будет конца, но весной, на одном из последних уроков учебного года, задумавшись о том, как участвую эти приставания летом, когда не будет занятий в гимназии, последнего Лариного прибежища против частых встреч с Комаровским, Лара быстро пришла к решению, надолго изменившему ее жизнь.

Было жаркое утро, собиралась гроза. В классе занимались при открытых окнах. Вдалеке гудел город, все время на одной ноте, как пчелы на пчельнике. Со двора доносился крик играющих детей. От травянистого запаха земли и молодой зелени болела голова, как на масленице от водки и блинного угара.

Учитель истории рассказывал о Египетской экспедиции Наполеона. Когда он дошел до высадки во Фрежюсе, небо почернело, треснуло и раскололось молнией и громом, и в класс через окна вместе с запахом свежести ворвались столбы песка и пыли. Две школьные подлизы услужливо кинулись в коридор звать дядьку закрывать окна, и, когда они отворили дверь, сквозняк поднял и понес со всех парт по классу промокашки из тетрадей.

Окна закрыли. Хлынул грязный городской ливень, перемешанный с пылью. Лара вырвала листок из записной тетради и написала соседке по парте, Наде Кологривовой:

«Надя, мне нужно устроить жизнь отдельно от мамы. Помоги мне найти несколько уроков повыгоднее. У вас много знакомств среди богатых».

Надя ответила тем же способом:

«Липе ищут воспитательницу. Поступи к нам. Вот было бы здорово! Ты ведь знаешь, как тебя любят папа и мама».

6

Больше трех лет Лара прожила у Кологривовых как за каменной стеной. Ниоткуда на нее не покушались, и даже мать и брат, к которым она чувствовала большое отчуждение, не напоминали ей о себе.

Лаврентий Михайлович Кологривов был крупный предприниматель-практик новейшей складки, талантливый и умный. Он ненавидел отживающий строй двойной ненавистью: баснословного, способного откупить государственную казну богача и сказочно далеко шагнувшего выходца из простого народа. Он прятал у себя нелегальных, нанимал обвиняемым на политических процессах защитников и, как уверяли в шутку, субсидируя революцию, сам свергал себя как собственника и устраивал забастовки на своей собственной фабрике. Лаврентий Михайлович был меткий стрелок и страстный охотник и зимой в девятьсот пятом году ездил по воскресеньям в Серебряный Бор и на Лосиный остров обучать стрельбе дружинников.

Это был замечательный человек. Серафима Филипповна, его жена, была ему достойной парой. Лара питала к обоим восхищенное уважение. Все в доме любили ее как родную.

На четвертый год Лариной беззаботности к ней пришел по делу братец Родя. Фатовато покачиваясь на длинных ногах и для пущей важности произнося слова в нос и неестественно растягивая их, он рассказал ей, что юнкера его выпуска собрали деньги на прощальный подарок начальнику училища, дали их Роде и поручили ему приискать и приобрести подарок. И вот эти деньги третьего дня он проиграл до копейки. Сказав это, Родя плюхнулся всей долговязой своей фигурой в кресло и заплакал.

Лара похолодела, когда это услышала. Всклипывая, Родя продолжал:

– Вчера я был у Виктора Ипполитовича. Он отказался говорить со мной на эту тему, но сказал, что если бы ты пожелала... Он говорит, что, хотя ты разлюбила всех нас, твоя власть над ним еще так велика... Ларочка... Достаточно одного твоего слова... Понимаешь ли ты, какой это позор и как это затрагивает честь юнкерского мундира?.. Сходи к нему, чего тебе стоит, попроси его... Ведь ты не допустишь, чтобы я смыл эту растрату своей кровью.

– Смыл кровью... Честь юнкерского мундира, – с возмущением повторяла Лара, взволнованно расхаживая по комнате. – А я не мундир, у меня чести нет, и со мной можно делать что угодно. Понимаешь ли ты, о чем просишь, вник ли в то, что он предлагает тебе? Год за годом, сизифовыми трудами строй, возводи, недосыпай, а этот пришел, и ему все равно, что он дунет, плюнет и все разлетится вдребезги! Да ну тебя к черту. Стреляйся, пожалуйста. Какое мне дело? Сколько тебе надо?

– Шестьсот девяносто с чем-то рублей, скажем, для ровного счета, семьсот, – немного замямвшись, сказал Родя.

– Родя! Нет, ты с ума сошел! Соображаешь ли ты, что говоришь? Ты проиграл семьсот рублей? Родя! Родя! Знаешь ли ты, в какой срок обыкновенный человек вроде меня может честным трудом выколотить такую сумму?

После некоторой паузы она прибавила, холодно и отчужденно:

– Хорошо. Я попробую. Приходи завтра. И принеси с собой револьвер, из которого ты хотел застрелиться. Ты передашь его мне в мою собственность. С хорошим запасом патронов, помни. Эти деньги она достала у Кологривова.

7

Служба у Кологривовых не помешала Ларе окончить гимназию, поступить на курсы, успешно пройти их и приблизиться к их окончанию, которое ей предстояло в будущем тысяча девятьсот двенадцатом году. Весной одиннадцатого кончила гимназию ее питомица Липочка. У нее уже был жених, молодой инженер Фризенданк, из хорошей и состоятельной семьи. Родители одобряли Липочкин выбор, но были против того, чтобы она вступала в брак так рано, и советовали ей подождать. На этой почве происходили драмы. Избалованная и взбалмошная Липочка, любимица семьи, кричала на отца и мать, плакала и топала ногами.

В богатом доме, где Лару считали родною, не помнили долга, сделанного ею для Родя, и о нем не напоминали.

Этот долг Лара давным-давно вернула бы, если бы у нее не было постоянных расходов, назначение которых она скрывала.

Она тайно от Паши посылала деньги его отцу, ссыльнопоселенцу Антипову, и помогала его часто хворавшей сварливой матери. Кроме того, она под еще большим секретом сокращала расходы самого Паши, без его ведома приплачивая его квартирным хозяевам за его стол и комнату.

Паша, бывший немного моложе Лары, любил ее до безумия и во всем слушался. По ее настояниям он по окончании реального засел за дополнительные латынь и греческий, чтобы

попасть в университет филологом. Лара мечтала через год, когда они сдадут государственные, обвенчаться с Пашею и уехать, он – учителем мужской, а она – учительницей женской гимназии, на службу в какой-нибудь из губернских городов Урала.

Паша жил в комнате, которую Лара сама приискала и сняла ему у тихих квартирохозяев в новоотстроенном доме по Камергерскому, близ Художественного театра.

Летом одиннадцатого года Лара в последний раз побывала с Кологривовыми в Дуплянке. Она любила это место до самозабвения, больше самих хозяев. Это хорошо знали, и относительно Лары существовал на случай этих летних поездок такой неписанный договор. Когда привозивший их жаркий и черномазый поезд уходил дальше и среди воцарявшейся безбрежно-обалделой и душистой тишины взволнованная Лара лишалась дара речи, ее отпускали одну пешком в имение, пока с полустанка таскали и клали на телегу багаж, а дуплянский кучер в безрукавом ямском казакине с выпущенными в проймы рукавами красной рубахи рассказывал господам, садившимся в коляску, местные новости истекшего сезона.

Лара шла вдоль полотна по тропинке, протоптанной странниками и богомольцами, и сворачивала на луговую стежку, ведущую к лесу. Тут она останавливалась и, зажмурив глаза, втягивала в себя путано-пахучий воздух окрестной шири. Он был роднее отца и матери, лучше возлюбленного и умнее книги. На одно мгновение смысл существования опять открывался Ларе. Она тут – постигала она – для того, чтобы разобраться в сумасшедшей прелести земли и все назвать по имени, а если это будет ей не по силам, то из любви к жизни родить себе преемников, которые это сделают вместо нее.

В это лето Лара приехала переутомленной от чрезмерных трудов, которые она на себя взвалила. Она легко расстраивалась. В ней развилась мнительность, ранее ей несвойственная. Эта черта мельчила Ларин характер, который всегда отличали широта и отсутствие щепетильности.

Кологривовы не отпускали ее. Она была окружена у них прежнею лаской. Но с тех пор как Липа стала на ноги, Лара считала себя в этом доме лишнею. Она отказывалась от жалованья. Ей его навязывали. Вместе с тем деньги требовались ей, а заниматься на звание гостыи самостоятельным заработком было неловко и практически неисполнимо.

Лара считала свое положение ложным и невыносимым. Ей казалось, что все тяготеет к ней и только не показывают. Она сама была в тягость себе. Ей хотелось бежать куда глаза глядят от себя самой и Кологривовых, но по понятиям Лары до этого надо было вернуть Кологривовым деньги, а взять их в данное время ей было неоткуда. Она чувствовала себя заложницей по вине этой глупой Родькиной растраты и не находила себе места от бессильного возмущения.

Во всем ей чудились признаки небрежности. Оказывали ли ей повышенное внимание наезжавшие к Кологривовым знакомые, это значило, что к ней относятся как к безответной «воспитаннице» и легкой добыче. А когда ее оставляли в покое, это доказывало, что ее считают пустым местом и не замечают.

Приступы ипохондрии не мешали Ларе разделять увеселения многочисленного общества, гостившего в Дуплянке. Она купалась и плавала, каталась на лодке, участвовала в ночных пикниках за реку, пускала вместе со всеми фейерверки и танцевала. Она играла в любительских спектаклях и с особенным увлечением состязалась в стрельбе в цель из коротких маузерных ружей, которым, однако, предпочитала легкий Родин револьвер. Она пристрелялась из него до большой меткости и в шутку жалела, что она женщина и ей закрыт путь дуэлянта-бретера. Но чем больше веселилась Лара, тем ей становилось хуже. Она сама не знала, чего хочет.

Особенно это усилилось по возвращении в город. Тут к Лариным неприятностям при-
мешались легкие размолвки с Пашею (серьезно ссориться с ним Лара остерегалась, потому

что считала его своею последнею защитой). У Паши за последнее время появилась некоторая самоуверенность. Наставительные нотки в его разговоре смешили и огорчали Лару.

Паша, Липа, Кологривовы, деньги – все это завертелось в голове у ней. Жизнь опротивела Ларе. Она стала сходиться с ума. Ее тянуло бросить все знакомое и испытанное и начать что-то новое. В этом настроении она на Рождестве девятьсот одиннадцатого года пришла к роковому решению. Она решила немедленно расстаться с Кологривовыми и построить свою жизнь как-нибудь одиноко и независимо, а деньги, нужные для этого, попросить у Комаровского. Ларе казалось, что после всего случившегося и последовавших за этим лет ее отвоєванной свободы он должен помочь ей по-рыцарски, не вступая ни в какие объяснения, бескорыстно и без всякой грязи.

С этой целью она двадцать седьмого декабря вечером отправилась в Петровские линии и, уходя, положила в муфту заряженный Родин револьвер на спущенном предохранителе с намерением стрелять в Виктора Ипполитовича, если он ей откажет, превратно поймет или как-нибудь унизит.

Она шла в страшном смятении по праздничным улицам и ничего кругом не замечала. Задуманный выстрел уже грянул в ее душе, в совершенном безразличии к тому, в кого он был направлен. Этот выстрел был единственное, что она сознавала. Она его слышала всю дорогу, и это был выстрел в Комаровского, в себя самое, в свою собственную судьбу и в дуплянский дуб на лужайке с вырезанной в его стволе стрелковою мишенью.

8

– Не трогайте муфты, – сказала она охавшей и ахавшей Эмме Эрнестовне, когда та протянула к Ларе руки, чтобы помочь ей раздеться.

Виктора Ипполитовича не оказалось дома. Эмма Эрнестовна продолжала уговаривать Лару войти и снять шубку.

– Я не могу. Я тороплюсь. Где он?

Эмма Эрнестовна сказала, что он в гостях на елке. С адресом в руках Лара сбегала по мрачной, живо ей все напомнимшей лестнице с цветными гербами на окнах и направилась в Мучной городок к Свентицким.

Только теперь, во второй раз выйдя на улицу, Лара толком осмотрелась по сторонам. Была зима. Был город. Был вечер.

Была ледяная стужа. Улицы покрывал черный лед, толстый, как стеклянные доньшки битых пивных бутылок. Было больно дышать. Воздух забит был серым инеем, и казалось, что он щекочет и покалывает своею косматою щетиной точно так же, как шерстил и лез Ларе в рот седой мех ее обледенелой горжетки. С колотящимся сердцем Лара шла по пустым улицам. По дороге дымились двери чайных и харчевен. Из тумана выныривали обмороженные лица прохожих, красные, как колбаса, и бородатые морды лошадей и собак в ледяных сосульках. Покрытые толстым слоем льда и снега окна домов точно были замазаны мелом, и по их непрозрачной поверхности двигались цветные отсветы зажженных елок и тени веселящихся, словно людям на улице показывали из домов туманные картины на белых, развешанных перед волшебным фонарем простынях.

В Камергерском Лара остановилась.

– Я больше не могу, я не выдержу, – почти вслух вырвалось у ней. «Я подымусь и все расскажу ему», – овладев собою, подумала она, отворяя тяжелую дверь представительного подъезда.

9

Красный от натуги Паша, подперев щеку языком, бился перед зеркалом, надевая воротник и стараясь проткнуть подгибающуюся запонку в закрахмаленные петли манишки. Он собирался в гости и был еще так чист и неискушен, что растерялся, когда Лара, войдя без стука, застала его с таким небольшим недочетом в костюме. Он сразу заметил ее волнение. У нее подкашивались ноги. Она вошла, шагами расталкивая свое платье, словно переходя его вброд.

– Что с тобой? Что случилось? – спросил он в тревоге, подбежав к ней навстречу.

– Сядь рядом. Садись такой, как ты есть. Не принаряжайся. Я тороплюсь. Мне надо будет сейчас уйти. Не трогай муфты. Погоди. Отвернись на минуту.

Он послушался. На Ларе был английский костюм. Она сняла жакет, повесила его на гвоздь и переложила Родин револьвер из муфты в карман жакета. Потом, вернувшись на диван, сказала:

– Теперь можешь смотреть. Зажги свечу и потуши электричество.

Лара любила разговаривать в полумраке при зажженных свечах. Паша всегда держал для нее про запас их нераспечатанную пачку. Он сменил огарок в подсвечнике на новую целую свечу, поставил на подоконник и зажег ее. Пламя захлебнулось стеарином, постреляло во все стороны трескучими звездочками и заострилось стрелкой. Комната наполнилась мягким светом. Во льду оконного стекла на уровне свечи стал протаивать черный глазок.

– Слушай, Патуля, – сказала Лара. – У меня затруднения. Надо помочь мне выбраться из них. Не пугайся и не расспрашивай меня, но расстанься с мыслью, что мы как все. Не оставайся спокойным. Я всегда в опасности. Если ты меня любишь и хочешь удержать меня от гибели, не надо откладывать, давай обвенчаемся скорее.

– Но это мое постоянное желание, – перебил он ее. – Скорее назначай день, я рад в любой, какой ты захочешь. Но скажи мне проще и яснее, что с тобой, не мучай меня загадками.

Но Лара отвлекла его в сторону, незаметно уклонившись от прямого ответа. Они еще долго разговаривали на темы, не имевшие никакого отношения к предмету Лариной печали.

10

Этой зимой Юра писал свое ученое сочинение о нервных элементах сетчатки на соискание университетской золотой медали. Хотя Юра кончал по общей терапии, глаз он знал с доскональностью будущего окулиста.

В этом интересе к физиологии зрения сказались другие стороны Юриной природы – его творческие задатки и его размышления о существовании художественного образа и строении логической идеи.

Тоня и Юра ехали в извозничьих санках на елку к Свентицким. Оба прожили шесть лет бок о бок начало отрочества и конец детства. Они знали друг друга до мельчайших подробностей. У них были общие привычки, своя манера перекидываться короткими остротами, своя манера отрывисто фыркать в ответ. Так и ехали они сейчас, отмалчиваясь, сжав губы на холоде и обмениваясь короткими замечаниями. И думали каждый о своем.

Юра вспоминал, что приближаются сроки конкурса и надо торопиться с сочинением, и в праздничной суматохе кончающегося года, чувствующейся на улицах, перескакивал с этих мыслей на другие.

На гордоновском факультете издавали студенческий гектографированный журнал. Гордон был его редактором. Юра давно обещал им статью о Блоке. Блоком бредила вся молодежь обеих столиц, и они с Мишей больше других.

Но и эти мысли ненадолго задерживались в Юрином сознании. Они ехали, уткнув подбородки в воротники и растирая отмороженные уши, и думали о разном. Но в одном их мысли сходились.

Недавняя сцена у Анны Ивановны обоих переродила. Они словно прозрели и взглянули друг на друга новыми глазами.

Тоня, этот старинный товарищ, эта понятная, не требующая объяснений очевидность, оказалась самым недостижимым и сложным из всего, что мог себе представить Юра, оказалась женщиной. При некотором усилии фантазии Юра мог вообразить себя взошедшим на Арарат героем, пророком, победителем, всем, чем угодно, но только не женщиной.

И вот эту труднейшую и все превосходящую задачу взяла на свои худенькие и слабые плечи Тоня (она с этих пор вдруг стала казаться Юре худой и слабой, хотя была вполне здоровой девушкой). И он преисполнился к ней тем горячим сочувствием и робким изумлением, которое есть начало страсти.

То же самое, с соответствующими изменениями, произошло по отношению к Юре с Тоней.

Юра думал, что напрасно все-таки они уехали из дому. Как бы чего-нибудь не случилось в их отсутствие. И он вспомнил. Узнав, что Анне Ивановне хуже, они, уже одетые к выезду, прошли к ней и предложили, что останутся. Она с прежней резкостью восстала против этого и потребовала, чтобы они ехали на елку. Юра и Тоня зашли за гардину в глубокую оконную нишу посмотреть, какая погода. Когда они вышли из ниши, оба полотнища тюлевой занавеси пристали к необношенной материи их новых платьев. Легкая льнущая ткань несколько шагов проволокалась за Тоней, как подвенечная фата за невестой. Все рассмеялись, так одновременно без слов всем в спальне бросилось в глаза это сходство.

Юра смотрел по сторонам и видел то же самое, что незадолго до него попадалось на глаза Ларе. Их сани поднимали неестественно громкий шум, пробуждавший неестественно долгий отзвук под обледелыми деревьями в садах и на бульварах. Светящиеся изнутри и заиндевелые окна домов походили на драгоценные ларцы из дымчатого слоистого топаза. Внутри их теплилась святочная жизнь Москвы, горели елки, толпились гости и играли в прятки и колечко дурачащиеся ряженые.

Вдруг Юра подумал, что Блок – это явление Рождества во всех областях русской жизни, в северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг зажженной елки в гостинной нынешнего века. Он подумал, что никакой статьи о Блоке не надо, а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом.

Они проезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на черную протаявшую скважину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало.

«Свеча горела на столе. Свеча горела...» – шептал Юра про себя начало чего-то смутного, неоформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой, без принуждения. Оно не приходило.

С незапамятных времен елки у Свентицких устраивали по такому образцу. В десять, когда разъезжалась детвора, зажигали вторую для молодежи и взрослых и веселились до

утра. Более пожилые всю ночь резались в карты в трехстенной помпейской гостиной, которая была продолжением зала и отделялась от него тяжелой плотной занавесью на больших бронзовых кольцах. На рассвете ужинали всем обществом.

– Почему вы так поздно? – на бегу спросил их племянник Свентицких Жорж, пробегающая через переднюю внутрь квартиры к дяде и тете. Юра и Тоня тоже решили пройти туда поздороваться с хозяевами и мимоходом, раздеваясь, посмотрели в зал.

Мимо жарко дышащей елки, опоясанной в несколько рядов струящимся сиянием, шурша платьями и наступая друг другу на ноги, двигалась черная стена прогуливающих и разговаривающих, не занятых танцами.

Внутри круга бешено вертелись танцующие. Их кружил, соединял в пары и вытягивал цепью сын товарища прокурора лицеист Кока Корнаков. Он дирижировал танцами и во все горло орал с одного конца зала на другой: «*Grand rond! Chaine chinoise!*»² – и все делалось по его слову. «*Une valse s'il vous plait!*»³ – горланил он таперу и в голове первого тура вел свою даму *a trois temps, a deux temps*⁴, все замедляя и суживая разбег до еле заметного переступания на одном месте, которое уже не было вальсом, а только его замирающим отголоском. И все аплодировали, и эту движущуюся, шаркающую и галдящую толпу обносили мороженым и прохладительными. Разгоряченные юноши и девушки на минуту переставали кричать и смеяться, торопливо и жадно глотали холодный морс и лимонад и, едва поставив бокал на поднос, возобновляли крик и смех в удесyтеренной степени, словно хватив какого-то веселящего состава.

Не заходя в зал, Тоня и Юра прошли к хозяевам на зады квартиры.

12

Внутренние комнаты Свентицких были загромождены лишними вещами, вынесенными из гостиной и зала для большего простора. Тут была волшебная кухня хозяев, их святочный склад. Здесь пахло краской и клеем, лежали свертки цветной бумаги и были груды наставлены коробки с котильонными звездами и запасными елочными свечами.

Старики Свентицкие расписывали номерки к подаркам, карточки с обозначением мест за ужином и билетки к какой-то предполагавшейся лотерее. Им помогал Жорж, но часто сбивался в нумерации, и они раздраженно ворчали на него. Свентицкие страшно обрадовались Юре и Тоне. Они их помнили маленькими, не церемонились с ними и без дальних слов усадили за эту работу.

– Фелицата Семеновна не понимает, что об этом надо было думать раньше, а не в самый разгар, когда гости. Ах ты Параскева-путаница, что ты, Жорж, опять натворил с номерами! Уговор был бонбоньерки с драже на стол, а пустые – на диван, а у вас опять шалды-балды и все шиворот-навыворот.

– Я очень рада, что Анете лучше. Мы с Пьером так за нее беспокоились.

– Да, но, милочка, ей как раз хуже, хуже, понимаешь, а у тебя всегда все *devant-derrière*⁵.

Юра и Тоня полвечера проторчали с Жоржем и стариками за их елочными кулисами.

² Большой круг! Китайская цепочка!

³ Вальс, пожалуйста!

⁴ На три счета, на два счета.

⁵ Шиворот-навыворот.

13

Все то время, что они сидели со Свентицкими, Лара была в зале. Хотя она была одета не по-бальному и никого тут не знала, она то давала безвольно, как во сне, кружить себя Коке Корнакову, то как в воду опущенная без дела слонялась кругом по залу.

Лара уже один или два раза в нерешительности останавливалась и мялась на пороге гостиной в надежде на то, что сидевший лицом к залу Комаровский заметит ее. Но он глядел в свои карты, которые держал в левой руке щитком перед собой, и либо действительно не видел ее, либо притворялся, что не замечает. У Лары дух захватило от обиды. В это время из зала в гостиную вошла незнакомая Ларе девушка. Комаровский посмотрел на вошедшую тем взглядом, который Лара так хорошо знала. Польщенная девушка улыбнулась Комаровскому, вспыхнула и просияла. При виде этого Лара чуть не вскрикнула. Краска стыда густо залила ей лицо, у нее покраснели лоб и шея. «Новая жертва», – подумала она. Лара увидела как в зеркале всю себя и всю свою историю. Но она еще не отказалась от мысли поговорить с Комаровским и, решив отложить попытку до более удобной минуты, заставила себя успокоиться и вернулась в зал.

С Комаровским за одним столом играли еще три человека. Один из его партнеров, который сидел рядом с ним, был отец щеголя лицеиста, пригласившего Лару на вальс. Об этом Лара заключила из двух-трех слов, которыми она перекинулась с кавалером, кружась с ним по залу. А высокая брюнетка в черном с шальными горящими глазами и неприятно позмеиную напряженной шеей, которая поминутно переходила то из гостиной в зал на поле сыновней деятельности, то назад в гостиную к игравшему мужу, была мать Коки Корнакова. Наконец, случайно выяснилось, что девушка, подавшая повод к сложным Лариным чувствованиям, сестра Коки, и Ларины сближения не имели под собой никакой почвы.

– Корнаков, – представился Кока Ларе в самом начале. Но тогда она не разобрала. – Корнаков, – повторил он на последнем скользком кругу, подведя ее к креслу, и откланялся.

На этот раз Лара расслышала. «Корнаков, Корнаков, – призадумалась она. – Что-то знакомое. Что-то неприятное». Потом она вспомнила. Корнаков – товарищ прокурора Московской судебной палаты. Он обвинял группу железнодорожников, вместе с которыми судился Тиверзин. Лаврентий Михайлович по Лариной просьбе ездил его умасливать, чтобы он не так неистовствовал на этом процессе, но не уломал. «Так вот оно что! Так, так, так. Любопытно. Корнаков. Корнаков...»

14

Был первый или второй час ночи. У Юры стоял шум в ушах. После перерыва, в течение которого в столовой пили чай с птифурами, танцы возобновились. Когда свечи на елке догорали, их уже больше никто не сменял.

Юра стоял в рассеянности посреди зала и смотрел на Тоню, танцевавшую с кем-то незнакомым. Проплывая мимо Юры, Тоня движением ноги откидывала небольшой трен слишком длинного атласного платья и, плеснув им, как рыба, скрывалась в толпе танцующих.

Она была очень разгорячена. В перерыве, когда они сидели в столовой, Тоня отказалась от чая и утоляла жажду мандаринами, которые она без счета очищала от пахучей, легко отделявшейся кожуры. Она поминутно вынимала из-за кушака или из рукавчика батистовый платок, крошечный, как цветы фруктового дерева, и утирала им струйки пота по краям губ и между липкими пальчиками. Смеясь и не прерывая оживленного разговора, она машинально совала платок назад за кушак или за оборку лифа.

Теперь, танцуя с неизвестным кавалером и при повороте задевая за сторонившегося и хмурившегося Юру, Тоня мимоходом шаловливо пожимала ему руку и выразительно улыбалась. При одном из таких пожатий платок, который она держала в руке, остался на Юриной ладони. Он прижал его к губам и закрыл глаза. Платок издавал смешанный запах мандариновой кожуры и разгоряченной Тониной ладони, одинаково чарующий. Это было что-то новое в Юриной жизни, никогда не испытанное и остро пронизывающее сверху донизу. Детски-наивный запах был задушевно-разумен, как какое-то слово, сказанное шепотом в темноте. Юра стоял, зарыв глаза и губы в ладонь с платком и дыша им. Вдруг в доме раздался выстрел.

Все повернули головы к занавеси, отделявшей гостиную от зала. Минуту длилось молчание. Потом начался переполох. Все засуетились и закричали. Часть бросилась за Кокой Корнаковым на место грянувшего выстрела. Оттуда уже шли навстречу, угрожали, плакали и, споря, перебивали друг друга.

— Что она наделала, что она наделала, — в отчаянии повторял Комаровский.

— Боря, ты жив? Боря, ты жив, — истерически выкрикивала госпожа Корнакова. — Говорили, что здесь в гостях доктор Дроков. Да, но где же он, где он? Ах, оставьте, пожалуйста! Для вас царапина, а для меня оправдание всей моей жизни. О мой бедный мученик, обличитель всех этих преступников! Вот она, вот она, дрянь, я тебе глаза выцарапаю, мерзавка! Ну, теперь ей не уйти! Что вы сказали, господин Комаровский? В вас? Она стреляла в вас? Нет, я не могу. У меня большое горе, господин Комаровский, опомнитесь, мне сейчас не до шуток. Кока, Кокочка, ну что ты скажешь! На отца твоего... Да... Но десница Божья... Кока! Кока!

Толпа из гостиной вкатилась в зал. В середине, громко отшучиваясь и уверяя всех в своей совершенной невредимости, шел Корнаков, зажимая чистой салфеткой кровоточащую царапину на легко ссаженной левой руке. В другой группе несколько в стороне и позади вели за руки Лару.

Юра обомлел, увидав ее. Та самая! И опять при каких необычайных обстоятельствах! И снова этот седоватый. Но теперь Юра знает его. Это видный адвокат Комаровский, он имел отношение к делу об отцовском наследстве. Можно не раскланиваться. Юра и он делают вид, что незнакомы. А она... Так это она стреляла? В прокурора? Наверное, политическая. Бедная. Теперь ей не поздоровится. Как она горделиво-хороша! А эти! Тащат ее, черти, выворачивая руки, как пойманную воровку.

Но он тут же понял, что ошибается. У Лары подкашивались ноги. Ее держали за руки, чтобы она не упала, и с трудом дотащили до ближайшего кресла, в которое она и рухнула.

Юра подбежал к ней, чтобы привести ее в чувство, но для большего удобства решил сначала проявить интерес к мнимой жертве покушения. Он подошел к Корнакову и сказал:

— Здесь просили врачебной помощи. Я могу подать ее. Покажите мне вашу руку... Ну, счастлив ваш Бог. Это такие пустяки, что я не стал бы перевязывать. Впрочем, немного йоду не помешает. Вот Фелицата Семеновна, мы попросим у нее.

На Свентицкой и Тоне, быстро приблизившихся к Юре, не было лица. Они сказали, чтобы он все бросил и шел скорее одеваться, за ними приехали, дома что-то неладное. Юра испугался, предположив самое худшее, и, позабыв обо всем на свете, побежал одеваться.

15

Они уже не застали Анну Ивановну в живых, когда с подъезда в Сивцевом сломя голову вбежали в дом. Смерть наступила за десять минут до их приезда. Ее причиной был долгий припадок удушья вследствие острого, вовремя не распознанного отека легких.

Первые часы Тоня кричала благим матом, билась в судорогах и никого не узнавала. На другой день она притихла, терпеливо выслушивая, что ей говорили отец и Юра, но могла

отвечать только кивками, потому что, едва она открывала рот, горе овладевало ею с прежнею силой и крики сами собой начинали вырываться из нее как из одержимой.

Она часами распластывалась на коленях возле покойницы, в промежутках между панихидами обнимая большими красивыми руками угол гроба вместе с краем помоста, на котором он стоял, и венками, которые его покрывали. Она никого кругом не замечала. Но едва ее взгляды встречались с глазами близких, она поспешно вставала с полу, быстрыми шагами выскальзывала из зала, сдерживая рыданье, стремительно взбегала по лесенке к себе наверх и, повалившись на кровать, зарывала в подушки взрывы бушевавшего в ней отчаяния.

От горя, долгого стояния на ногах и недосыпания, от густого пения, и ослепляющего света свечей днем и ночью, и от простуды, схваченной на этих днях, у Юры в душе была сладкая неразбериха, блаженно-бредовая, скорбно-восторженная.

Десять лет назад, когда хоронили маму, Юра был совсем еще маленький. Он до сих пор помнил, как он безутешно плакал, пораженный горем и ужасом. Тогда главное было не в нем. Тогда он едва ли даже соображал, что есть какой-то он, Юра, имеющийся в отдельности и представляющий интерес или цену. Тогда главное было в том, что стояло кругом, в наружном. Внешний мир обступал Юру со всех сторон, осязательный, непроходимый и бесспорный, как лес, и оттого-то был Юра так потрясен маминой смертью, что он с ней заблудился в этом лесу и вдруг остался в нем один, без нее. Этот лес составляли все вещи на свете — облака, городские вывески, и шары на пожарных каланчах, и скакавшие верхом перед каретой с Божьей Матерью служки с наушниками вместо шапок на обнаженных в присутствии святыни головах. Этот лес составляли витрины магазинов в пассажах и недосыгаемо высокое ночное небо со звездами, боженькой и святыми.

Это недоступно высокое небо наклонялось низко-низко к ним в детскую макушкой в нянюшкин подол, когда няня рассказывала что-нибудь божественное, и становилось близким и ручным, как верхушки орешника, когда его ветки нагибают в оврагах и обирают орехи. Оно как бы окуналось у них в детской в таз с позолотой и, искупавшись в огне и золоте, превращалось в заутреню или обедню в маленькой переулочной церквушке, куда няня его водила. Там звезды небесные становились лампадками, боженька — батюшкой и все размещались на должности более или менее по способностям. Но главное был действительный мир взрослых и город, который, подобно лесу, темнел кругом. Тогда всей своей полузвериной верой Юра верил в бога этого леса, как в лесничего.

Совсем другое дело было теперь. Все эти двенадцать лет школы, средней и высшей, Юра занимался древностью и Законом Божьим, преданиями и поэтами, науками о прошлом и о природе, как семейною хроникой родного дома, как своею родословною. Сейчас он ничего не боялся, ни жизни, ни смерти, все на свете, все вещи были словами его словаря. Он чувствовал себя стоящим на равной ноге со вселенною и совсем по-другому выстаивал панихиды по Анне Ивановне, чем в былое время по своей маме. Тогда он забывался от боли, робел и молился. А теперь он слушал заупокойную службу как сообщение, непосредственно к нему обращенное и прямо его касающееся. Он вслушивался в эти слова и требовал от них смысла, понятно выраженного, как это требуется от всякого дела, и ничего общего с набожностью не было в его чувстве преемственности по отношению к высшим силам земли и неба, которым он поклонялся как своим великим предшественникам.

16

«Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас». Что это? Где он? Вынос. Выносят. Надо проснуться. Он в шестом часу утра повалился одетый на этот диван. Наверное, у него жар. Сейчас его ищут по всему дому, и никто не догадается, что он в биб-

лиотеке спит не проснется в дальнем углу, за высокими книжными полками, достигающими до потолка.

– Юра, Юра! – зовет его где-то рядом дворник Маркел. Начался вынос, Маркелу надо тащить вниз на улицу венки, а он не может доискаться Юры да вдобавок еще застрял в спальне, где венки сложены горою, потому что дверь из нее придерживает открывшаяся дверца гардероба и не дает Маркелу выйти.

– Маркел! Маркел! Юра! – зовут их снизу.

Маркел одним ударом расправляется с образовавшимся препятствием и сбегает с несколькими венками вниз по лестнице.

«Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный», – тихим веянием проволочается по переулку и остается в нем, как будто провели мягким страусовым пером по воздуху, и все качается: венки и встречные, головы лошадей с султанами, отлетающее кадило на цепочке в руке священника, белая земля под ногами.

– Юра! Боже, наконец-то. Проснись, пожалуйста, – трясет его за плечо доискавшаяся его Шура Шлезингер. – Что с тобой? Выносят. Ты с нами?

– Ну конечно.

17

Отпевание кончилось. Нищие, зябко переступая с ноги на ногу, теснее сдвинулись в две шеренги. Колыхнулись и чуть-чуть переместились похоронные дроги, одноколка с венками, карета Крюгеров. Ближе к церкви подтянулись извозчики. Из храма вышла заплаканная Шура Шлезингер и, подняв отсыревшую от слез вуаль, скользнула испытующим взором вдоль линии извозчиков. Отыскав в их ряду носильщиков из бюро, она кивком подозвала их к себе и скрылась с ними в церкви. Из церкви валило все больше народу.

– Вот и Анны Иваннина очередь. Приказала кланяться, вынула, бедняжка, далекий билет.

– Да, отпрыгалась, бедная. Поехала, стрекоза, отдыхать.

– У вас извозчик или вы на одиннадцатом номере?

– Застоялись ноги. Чутьку пройдемся и поедем.

– Заметили, как Фуфков расстроен? На новопреставленную смотрел, слезы градом, сморкается, так бы и съел. А рядом муж.

– Он всю жизнь на нее запускал глазнапа.

С такими разговорами тащились на другой конец города на кладбище. В этот день отдало после сильных морозов. День был полон недвижной тяжести, день отпустившего мороза и отошедшей жизни, день, самой природой как бы созданный для погребения. Погрязневший снег словно просвечивал сквозь наброшенный креп, из-за оград смотрели темные, как серебро с чернью, мокрые елки и походили на траур.

Это было то самое, памятное кладбище, место упокоения Марии Николаевны. Юра последние годы совсем не попадал на материнскую могилу. «Мамочка», – посмотрев издали в ту сторону, прошептал он почти губами тех лет.

Расходились торжественно и даже картинно по расчищенным дорожкам, уклончивые извивы которых плохо согласовались со скорбной размеренностью их шага. Александр Александрович вел под руку Тоню. За ними следовали Крюгеры. Тоне очень шел траур.

На купольных цепях крестов и на розовых монастырских стенах лохматился иней, бородатый, как плесень. В дальнем углу монастырского двора от стены к стене были протянуты веревки с развешенным для сушки стираным бельем – рубашки с тяжелыми, набрякшими рукавами, скатерти персикового цвета, кривые, плохо выжатые простыни. Юра вгля-

делся в ту сторону и понял, что это то место на монастырской земле, где тогда бушевала вьюга, измененное новыми постройками.

Юра шел один, быстрой ходьбой опережая остальных, изредка останавливаясь и их поджидая. В ответ на опустошение, произведенное смертью в этом медленно шагавшем сзади обществе, ему с непреодолимостью, с какою вода, крутя воронки, устремляется в глубину, хотелось мечтать и думать, трудиться над формами, производить красоту. Сейчас, как никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает.

Юра с вожделием предвкушал, как он на день-два исчезнет с семейного и университетского горизонта и в свои зауспокойные строки по Анне Ивановне вставит все, что ему к той минуте подвернется, все случайное, что ему подсунет жизнь: две-три лучших отличительных черты покойной; образ Тони в трауре; несколько уличных наблюдений по пути назад с кладбища; стираное белье на том месте, где давно когда-то ночью завывала вьюга и он плакал маленьким.

Часть четвертая

Назревшие неизбежности

1

Лара лежала в полубреду в спальне на кровати Фелицаты Семеновны. Вокруг нее шептались Свентицкие, доктор Дроков, прислуга.

Пустой дом Свентицких был погружен во тьму, и только в середине длинной анфилады комнат, в маленькой гостиной, горела на стене тусклая лампа, бросая свет вперед и назад вдоль этого сквозного, в одну линию вытянутого ряда.

По этому пролету не как в гостях, а словно у себя дома, злыми и решительными шагами расхаживал Виктор Ипполитович. Он то заглядывал в спальню, осведомляясь, что там делается, то направлялся в противоположный конец дома и мимо елки с серебряными бусами доходил до столовой, где стол ломился под нетронутым угощением и зеленые винные бокалы позвякивали, когда за окном по улице проезжала карета или по скатерти между тарелок прошмыгивал мышонок.

Комаровский рвал и метал. Разноречивые чувства теснились в его груди. Какой скандал и безобразие! Он был в бешенстве. Его положение было в опасности. Случай подрывал его репутацию. Надо было любой ценой, пока не поздно, предупредить, пресечь сплетни, а если весть уже распространилась, замять, затушить слухи при самом возникновении. Кроме того, он снова испытал, до чего неотразима эта отчаянная, сумасшедшая девушка. Сразу было видно, что она не как все. В ней всегда было что-то необыкновенное. Однако как чувствительно и непоправимо, по-видимому, исковеркал он ее жизнь! Как она мечется, как все время восстает и бунтует в стремлении переделать судьбу по-своему и начать существовать сызнова.

Надо будет со всех точек зрения помочь ей, может быть, снять ей комнату, но ни в коем случае не трогать ее, напротив, совершенно устраниться, отойти в сторону, чтобы не бросать тени, а то вот ведь она какая, еще что-нибудь выкинет, чего доброго!

А сколько еще хлопот впереди! Ведь за это по головке не погладят. Закон не дремлет. Еще ночь и не прошло двух часов с той минуты, как разыгралась эта история, а уже два раза являлись из полиции, и Комаровский выходил на кухню для объяснения с околоточным и все улаживал.

А чем дальше, тем все будет сложнее. Потребуются доказательства, что Лара целилась в него, а не в Корнакова. Но и этим дело не ограничится. Часть ответственности будет с Лары снята, но она будет подлежать судебному преследованию за оставшуюся часть.

Разумеется, он всеми силами этому воспрепятствует, а если дело будет возбуждено, достанет заключение психиатрической экспертизы о невменяемости Лары в момент совершения покушения и добьется прекращения дела.

За этими мыслями Комаровский стал успокаиваться. Ночь прошла. Полосы света стали шнырять из комнаты в комнату, заглядывая под столы и диваны, как воры или ломбардные оценщики.

Наведавшись в спальню и удостоверившись, что Ларе не стало лучше, Комаровский от Свентицких поехал к своей знакомой, юристке и жене политического эмигранта Руфине Онисимовне Войт-Войтковской. Квартира в восемь комнат была теперь выше ее потребностей и ей не по средствам. Она сдавала внаймы две комнаты. Одну из них, недавно освободившуюся, Комаровский снял для Лары. Через несколько часов Лару перевезли туда в лихорадочном жару и полуобморочном состоянии. У нее была нервная горячка.

2

Руфина Онисимовна была передовой женщиной, врагом предрассудков, доброжелательницей всего, как она думала и выражалась, «положительного и жизнеспособного».

У нее на комод лежал экземпляр Эрфуртской программы с надписью составителя. На одной из фотографий, прибитых к стене, ее муж, «мой добрый Войт», был снят на народном гулянии в Швейцарии вместе с Плехановым. Оба были в люстриновых пиджаках и панамах.

Руфина Онисимовна с первого взгляда невзлюбила свою больную квартирантку. Она считала Лару злостной симулянткой. Припадки Лариного бреда казались Руфине Онисимовне сплошным притворством. Руфина Онисимовна готова была побожиться, что Лара разыгрывает помешанную Маргариту в темнице.

Руфина Онисимовна выражала Ларе свое презрение повышенным оживлением. Она хлопала дверьми и громко напевала, вихрем носясь по своей части квартиры, и по целым дням проветривала у себя комнаты.

Ее квартира была в верхнем этаже большого дома на Арбате. Окна этого этажа, начиная с зимнего солнцеворота, наполнялись через край голубым светлым небом, широким, как река в половодье. Ползимы квартира была полна признаками будущей весны, ее предвестиями.

В форточки дул теплый ветер с юга, на вокзалах белугой ревели паровозы, и болеющая Лара, лежа в постели, предавалась на досуге далеким воспоминаниям.

Очень часто ей вспоминался первый вечер их приезда в Москву с Урала, лет семь-восемь тому назад, в незабвенном детстве.

Они ехали в пролетке полутемными переулками через всю Москву в номера с вокзала. Приближающиеся и удаляющиеся фонари отбрасывали тень их горбящегося извозчика на стены зданий. Тень росла, росла, достигала неестественных размеров, накрывала мостовую и крыши и обрывалась. И все начиналось сначала.

В темноте над головой трезвонили московские сорок сороков, по земле со звоном разъезжали конки, но кричащие витрины и огни тоже оглушали Лару, как будто и они издавали какой-то свой звук, как колокола и колеса.

На столе в номере ее ошеломил невероятной величины арбуз, хлеб-соль Комаровского им на новоселье. Арбуз казался Ларе символом властности Комаровского и его богатства. Когда Виктор Ипполитович ударом ножа раскроил надвое звонко хряснувшее, темно-зеленое, круглое диво с ледяной, сахаристой сердцевинкой, у Лары захватило дух от страха, но она не посмела отказаться. Она через силу глотала розовые душистые куски, которые от волнения становились у нее поперек горла.

И ведь эта робость перед дорогим кушаньем и ночью столицей потом так повторилась в ее робости перед Комаровским – главная разгадка всего происшедшего. Но теперь он был неузнаваем. Ничего не требовал, не напоминал о себе и даже не показывался. И постоянно, держась на расстоянии, благороднейшим образом предлагал свою помощь.

Совсем другое дело было посещение Кологривова. Лара очень обрадовалась Лаврентию Михайловичу. Не потому чтобы он был так высок и статен, а благодаря выпиравшей из него живости и таланту гость занял собою, своим искрящимся взглядом и своей умною усмешкою полкомнаты. В ней стало теснее.

Он сидел, потирая руки, перед Лариной кроватью. Когда его вызывали в Петербург в Совет министров, он разговаривал с сановными старцами так, словно это были шалуны пригостишки. А тут перед ним лежала недавняя часть его домашнего очага, что-то вроде его родной дочери, с которой, как со всеми домашними, он перекидывался взглядами и замечаниями только на ходу и мельком (это составляло отличительную прелесть их сжатого, выразительного общения, обе стороны это знали). Он не мог относиться к Ларе тяжело и без-

различно, как ко взрослой. Он не знал, как с ней говорить, чтобы не обидеть ее, и сказал, усмехнувшись ей, как ребенку:

– Что же вы это, матушка, затеяли? Кому нужны эти мелодрамы? – Он смолк и стал рассматривать пятна сырости на потолке и обоях. Потом, укоризненно покачав головой, продолжал: – В Дюссельдорфе выставка открывается международная – живописи, скульптуры, садоводства. Собираюсь. Сыровато у вас. И долго это вы намерены болтаться между небом и землею? Здесь ведь не бог вести какое раздолье. Эта Войтесса, между нами говоря, порядочная дрянь. Я ее знаю. Переезжайте. Довольно вам валяться. Поболели, и ладно. Пора подыматься. Перемените комнату, займитесь предметами, кончайте курсы. Есть у меня один художник знакомый. Он уезжает на два года в Туркестан. У него мастерская разгорожена переборками, и, собственно говоря, это целая небольшая квартира. Кажется, он готов передать ее вместе с обстановкой в хорошие руки. Хотите, устрою? И затем вот что. Позвольте уж по-деловому. Я давно хотел, это моя священная обязанность... С тех пор как Липа... Вот тут небольшая сумма, наградные за ее окончание... Нет, позвольте, позвольте... Нет, прошу вас, не упирайтесь... Нет, извините, пожалуйста.

И, уходя, он заставил ее, несмотря на ее возражения, слезы и даже что-то вроде драки, принять от него банковский чек на десять тысяч.

Выздоровев, Лара переехала на новое пепелище, расхваленное Кологривовым. Место было совсем поблизости у Смоленского рынка. Квартира находилась наверху небольшого каменного дома в два этажа, старинной стройки. Низ занимали торговые склады. В доме жили ломовые извозчики. Двор был вымощен булыжником и всегда покрыт рассыпанным овсом и рассоренным сеном. По двору, воркуя, похаживали голуби. Они шумной стайкой подпархивали над землей, не выше Лариного окна, когда по каменному сточному желобу двора табунком пробегали крысы.

3

Много горя было с Пашею. Пока Лара серьезно хворала, его не допускали к ней. Что должен был он почувствовать? Лара хотела убить человека, по Пашиным понятиям, безразличного ей, а потом очутилась под покровительством этого человека, жертвы своего неудавшегося убийства. И это все после памятного их разговора рождественскою ночью, при горящей свече! Если бы не этот человек, Лару бы арестовали и судили. Он отвел от нее грозившую ей кару. Благодаря ему она осталась на курсах, цела и невредима. Паша терзался и недоумевал.

Когда ей стало лучше, Лара вызвала Пашу к себе. Она сказала:

– Я плохая. Ты не знаешь меня, я когда-нибудь расскажу тебе. Мне трудно говорить, ты видишь, я захлебываюсь от слез, но брось, забудь меня, я тебя не стою.

Пошли душераздирающие сцены, одна невыносимее другой. Войтковская, – потому что это происходило еще во время Лариного пребывания на Арбате, – Войтковская при виде заплаканного Паши кидалась из коридора на свою половину, валилась на диван и хохотала до колик, приговаривая: «Ой не могу, ой не могу! Вот это можно сказать действительно... Ха-ха-ха! Богатырь! Ха-ха-ха! Еруслан Лазаревич!»

Чтобы избавить Пашу от пятнающей привязанности, вырвать ее с корнем и положить конец мучениям, Лара объявила Паше, что наотрез отказывается от него, потому что не любит его, но так рыдала, произнося это отречение, что ей нельзя было поверить. Паша подозревал ее во всех смертных грехах, не верил ни одному ее слову, готов был проклясть и возненавидеть, и любил ее дьявольски, и ревновал ее к ее собственным мыслям, к кружке, из которой она пила, и к подушке, на которой она лежала. Чтобы не сойти с ума, надо было действовать решительнее и скорее. Они решили пожениться не откладывая, еще до окон-

чания экзаменов. Было предположение венчаться на Красную горку. Свадьбу по Лариной просьбе опять отложили.

Их венчали в Духов день, на второй день Троицы, когда с несомненностью выяснилась успешность их окончания. Всем распоряжалась Людмила Капитоновна Чепурко, мать Туси Чепурко, Лариной однокурсницы, вместе с ней окончившей. Людмила Капитоновна была красивая женщина с высокой грудью и низким голосом, хорошая певица и страшная выдумщица. В придачу к действительным приметам и поверьям, известным ей, она на ходу экспромтом сочиняла множество собственных.

Была ужасная жара в городе, когда Лару «повезли под злат венец», как цыганским панинским басом мурлыкала себе под нос Людмила Капитоновна, убирая Лару перед выездом. Были пронзительно желты золотые купола церквей и свежий песочек на дорожках гуляний. Запылившаяся зелень березок, нарубленных накануне к Троицыну дню, понуро висла по оградкам храмов, свернувшись в трубочку и словно обгорелая. Было трудно дышать, и в глазах рябило от солнечного блеска. И словно тысячи свадеб справляли кругом, потому что все девушки были завиты и в светлом, как невесты, и все молодые люди, по случаю праздника, напояжены и в черных парах в обтяжку. И все волновались, и всем было жарко.

Лагодина, мать другой Лариной товарки, бросила Ларе горсть серебряной мелочи под ноги, когда Лара вступила на коврик, к будущему богатству, а Людмила Капитоновна с тою же целью посоветовала Ларе, когда она станет под венец, креститься не голой, высунутой рукой, а полуприкрытой краешком газа или кружева. Потом она сказала, чтобы Лара держала свечу высоко, тогда она будет в доме верховодить. Но, жертвуя своей будущностью в пользу Пашиной, Лара опускала свечу как можно ниже, и все понапрасну, потому что сколько она ни старалась, все выходило, что ее свеча выше Пашиной.

Из церкви вернулись прямо на пирушку в мастерскую художника, тогда же обновленную Антиповыми. Гости кричали: «Горько, не пьется», — а с другого конца согласным ревом ответствовали: «Надо подсластить», — и молодые, конфузливо ухмыляясь, целовались. Людмила Капитоновна пропела им величание «Виноград» с двойным припевом «Дай вам Бог любовь да совет» и песню «Расплетайся, трубчатая коса, рассыпайтесь, русы волоса».

Когда все разошлись и они остались одни, Паше стало не по себе от внезапно наступившей тишины. На дворе против Лариного окна горел фонарь на столбе, и, как ни занавешивалась Лара, узкая, как распиленная доска, полоса света проникала сквозь промежуток разошедшихся занавесок. Эта светлая полоса не давала Паше покою, словно кто-то за ними подсматривал. Паша с ужасом обнаруживал, что этим фонарем он занят больше, чем собою, Ларою и своей любовью к ней.

За эту ночь, продолжительную как вечность, недавний студент Антипов, Степанида и Красная Девица, как звали его товарищи, побывал наверху блаженства и на дне отчаяния. Его подозрительные догадки чередовались с Лариными признаниями. Он спрашивал, и за каждым Лариным ответом у него падало сердце, словно он летел в пропасть. Его израненное воображение не поспевало за новыми открытиями.

Они проговорили до утра. В жизни Антипова не было перемены разительнее и внезапнее этой ночи. Утром он встал другим человеком, почти удивляясь, что его зовут по-прежнему.

4

Через десять дней друзья устроили им проводы в той же комнате. Паша и Лара оба кончили, оба одинаково блестяще, оба получили предложения в один и тот же город на Урале, куда и должны были выехать на другой день утром.

Опять пили, пели и шумели, но на этот раз только одна молодежь, без старших.

За перегородкой, отделявшей жилые закоулки от большой мастерской, где собрались гости, стояли большая багажная и одна средняя корзины Лары, чемодан и ящик с посудой. В углу лежало несколько мешков. Вещей было много. Часть их уходила на другой день утром малою скоростью. Все почти было уложено, но не до конца. Ящик и корзины стояли открытые, не доложенные доверху. Лара время от времени вспоминала про что-нибудь, переносила забытую вещь за перегородку и, положив в корзину, разравнивала неровности.

Паша уже был дома с гостями, когда Лара, ездившая в канцелярию курсов за метрикой и бумагами, вернулась в сопровождении дворника с рогожею и большой связкою крепкой толстой веревки для увязывания завтрашней клади. Лара отпустила дворника и, обойдя гостей, с частью поздоровалась за руку, а с другими перецеловалась, а потом ушла за перегородку переодеваться. Когда она вышла переодетая, все захлопали, загалдели, стали рассаживаться, и начался шум, как несколько дней тому назад на свадьбе. Наиболее предприимчивые взялись разливать водку соседям, множество рук, вооружившись вилками, потянулось в центр стола за хлебом и к блюдам с кушаньями и закусками. Ораторствовали, кричали, промочивши горло, и наперебой острили. Некоторые стали быстро пьянеть.

– Я смертельно устала, – сказала Лара, сидевшая рядом с мужем. – А ты все успел, что хотел, сделать?

– Да.

– И все-таки я замечательно себя чувствую. Я счастлива. А ты?

– Я тоже. Мне хорошо. Но это долгий разговор.

На вечеринку с молодою компанией в виде исключения был допущен Комаровский. В конце вечера он хотел сказать, что осиротеет после отъезда своих молодых друзей, что Москва станет для него пустынею, Сахарой, но так расчувствовался, что всхлипнул и должен был повторить прерванную от волнения фразу снова. Он просил Антиповых позволения переписываться с ними и навестить к ним в Юрятин, место их нового жительства, если он не выдержит разлуки.

– Это совершенно лишнее, – громко и невнимательно отозвалась Лара. – И вообще все это ни к чему – переписываться. Сахара и тому подобное. А приезжать туда и не думайте. Бог даст без нас уцелеете, не такая мы редкость, не правда ли, Паша? Авось найдется вашим молодым друзьям замена.

И совершенно забыв, с кем и о чем она говорит, Лара что-то вспомнила и, торопливо встав, ушла за перегородку на кухню. Там она развинтила мясорубку и стала распахивать разобранные части по углам посудного ящика, подтыкая их клочьями сена. При этом она чуть не занозила себе руку отщепившейся от края острою лучиной.

За этим занятием она упустила из виду, что у нее гости, перестав их слышать, как вдруг они напомнили о себе особенно громким взрывом галдежа из-за перегородки, и тогда Лара подумала, с какой старательностью пьяные всегда любят изображать пьяных, и с тем более бездарной и любительской подчеркнутостью, чем они пьянее.

В это время совсем другой, особенный звук привлек ее внимание со двора сквозь открытое окно. Лара отвела занавеску и высунулась наружу.

По двору хромающими прыжками передвигалась стреноженная лошадь. Она была неизвестно чья и забрела во двор, наверное, по ошибке. Было уже совершенно светло, но еще далеко до восхода солнца. Спящий и как бы совершенно вымерший город тонул в серо-лиловой прохладе раннего часа. Лара закрыла глаза. Бог знает в какую деревенскую глушь и прелесть переносило это отличительное и ни с чем не сравнимое конское кованное переступание.

С лестницы позвонили. Лара наострила уши. Из-за стола пошли отворять. Это была Надя! Лара кинулась навстречу вошедшей. Надя была прямо с поезда, свежая, обворожи-

тельная и вся как бы благоухала дуплянскими ландышами. Подруги стояли, будучи не в силах сказать ни слова, и только ревели, обнимались и чуть не задушили друг друга.

Надя привезла Ларе от всего дома поздравления и напутствия и в подарок от родителей драгоценность. Она вынула из саквояжа завернутую в бумагу шкатулку, развернула ее и, отщелкнув крышку, передала Ларе редкой красоты ожерелье.

Начались охи и ахи. Кто-то из пьяных, уже несколько протрезвившийся, сказал:

– Розовый гиацинт. Да, да, розовый, вы что думаете. Камень не ниже алмаза.

Но Надя спорила, что это желтые сапфиры.

Усадив ее рядом с собой и угощая, Лара положила ожерелье около своего прибора и смотрела на него не отрываясь. Собранное в горсточку на фиолетовой подушке футляра, оно переливалось, горело и то казалось стечением по каплям набежавшей влаги, то кистью мелкого винограда.

Кое-кто за столом тем временем успел прийти в чувство. Очнувшиеся снова пропустили по рюмочке за компанию с Надей. Надю быстро напоили.

Скоро дом представлял сонное царство. Большинство, предвидя завтрашние вокзальные проводы, осталось ночевать. Половина давно уже храпела по углам вповалку. Лара сама не помнила, как очутилась одетая на диване рядом с уже спавшею Ирой Лагодиной.

Лара проснулась от громкого разговора над самым ухом. Это были голоса чужих, пришедших с улицы во двор за пропавшею лошадыю. Лара открыла глаза и удивилась: «Какой этот Паша в самом деле неугомонный, стоит верстой среди комнаты и все без конца что-то шарит». В это время предполагаемый Паша повернулся к ней лицом, и она увидела, что это совсем не Паша, а какое-то рябое страшилище с лицом, рассеченным шрамом от виска к подбородку. Тогда она поняла, что к ней забрался вор, грабитель, и хотела крикнуть, но оказалась не в состоянии издать ни звука. Вдруг она вспомнила про ожерелье и, украдкой поднявшись на локте, посмотрела искоса на обеденный стол.

Ожерелье лежало на месте среди крошек хлеба и огрызков карамели, и недогадливый злоумышленник не замечал его в куче объедков, а только ворошил уложенное белье и приводил в беспорядок Ларину упаковку. Хмельной и полусонной Ларе, плохо сознававшей положение, стало особенно жалко своей работы. В негодовании она снова хотела крикнуть и снова не могла открыть рот и пошевелить языком. Тогда она с силой толкнула спавшую рядом Иру Лагодину коленом под ложечку, и когда та вскрикнула не своим голосом от боли, вместе с ней закричала и Лара. Вор уронил узел с украденным и опрометью кинулся из комнаты. Кое-кто из повскакавших мужчин, насилу уяснив себе, в чем дело, бросился вдогонку, но грабителя и след простыл.

Происшедший переполох и его дружное обсуждение послужили сигналом к общему вставанию. Остаток хмеля у Лары как рукой сняло. Неумолимая к их упрасиваниям дать им подремать и поваляться еще немного, Лара подняла всех спящих, наскоро напоила их кофе и разогнала по домам впредь до новой встречи на вокзале к моменту отхода их поезда.

Когда все ушли, закипела работа. Лара со свойственной ей быстротой носилась от портпледы к портпледу, распахивала подушки, стягивала ремни и только умоляла Пашу и дворничиху не помогать, чтобы не мешать ей.

Все произошло как следует, вовремя. Антиповы не опоздали. Поезд тронулся плавно, словно подражая движению шляп, которыми им махали на прощание. Когда перестали махать и троекратно рывкнули что-то издали (вероятно, «ура»), поезд пошел быстрее.

5

Третий день стояла мерзкая погода. Это была вторая осень войны. Вслед за успехами первого года начались неудачи. Восьмая армия Брусилова, сосредоточенная в Карпатах,

готова была спуститься с перевалов и вторгнуться в Венгрию, но вместо этого отходила, оттягиваемая назад общим отступлением. Мы очищали Галицию, занятую в первые месяцы военных действий.

Доктор Живаго, которого звали прежде Юрою, а теперь один за другим звали все чаще по имени-отчеству, стоял в коридоре акушерского корпуса гинекологической клиники, против двери палаты, в которую поместили только что привезенную им жену Антонину Александровну. Он с ней простился и дожидался акушерки, чтобы уговориться с ней о том, как она будет извещать его, в случае надобности, и как он будет у нее осведомляться о состоянии Тониного здоровья.

Ему было некогда, он торопился к себе в больницу, а до этого должен был еще заехать к двум больным с визитом на дом, а он попусту терял драгоценное время, глаза в окно на косую штриховку дождя, струи которого ломал и отклонял в сторону порывистый осенний ветер, как валит и путает буря колосья в поле. Еще было не очень темно. Глазам Юрия Андреевича открывались клинические задворки, стеклянные террасы особняков на Девичьем поле, ветка электрического трамвая, проложенная к черному ходу одного из больничных корпусов.

Дождь лил самым неутешным образом, не усиливаясь и не ослабевая, несмотря на неистовства ветра, казалось, обострившиеся от невозмутимости низвергавшейся на землю воды. Порывы ветра терзали побеги дикого винограда, которыми была увита одна из террас. Ветер как бы хотел вырвать растение целиком, поднимал на воздух, встряхивал на весу и безгласно кидал вниз, как дырявое рубище.

Мимо террасы к клинике подошел моторный вагон с двумя прицепами. Из них стали выносить раненых.

В московских госпиталях, забитых до невозможности, особенно после Луцкой операции, раненых стали класть на лестничных площадках и в коридорах. Общее переполнение городских больниц начало сказываться на состоянии женских отделений.

Юрий Андреевич повернулся спиной к окну и зевал от усталости. Ему не о чем было думать. Неожиданно он вспомнил. В хирургическом отделении Крестовоздвиженской больницы, где он служил, умерла на днях больная. Юрий Андреевич утверждал, что у нее эхинококк печени. Все с ним спорили. Сегодня ее вскроют. Вскрытие установит истину. Но прозектор их больницы – запойный пьяница. Бог его знает, как он за это примется.

Быстро стемнело. Стало невозможно разглядеть что-нибудь за окном. Словно мановением волшебного жезла во всех окнах зажглось электричество.

От Тони через маленький тамбурчик, отделявший палату от коридора, вышел главный врач отделения, мастодонт-гинеколог, на все вопросы всегда отвечавший возведением глаз к потолку и пожиманием плеч. Эти движения на его мимическом языке означали, что, как ни велики успехи знания, есть, мой друг Горацио, загадки, перед которыми наука пасует.

Он прошел мимо Юрия Андреевича, с улыбкой поклонившись ему, и произвел несколько плавательных движений пухлыми руками с толстыми ладонями в смысле того, что приходится ждать и смиряться, и направился по коридору покурить в приемную.

Тогда к Юрию Андреевичу вышла ассистентка неразговорчивого гинеколога, по словоохотливости полная ему противоположность.

– На вашем месте я поехала бы домой. Я вам завтра позвоню в Крестовоздвиженскую общину. Едва ли это начнется раньше. Я уверена, что роды буду естественные, без искусственного вмешательства. Но, с другой стороны, кое-какая узость таза, второе затылочное положение, в котором лежит плод, отсутствие у нее болей и незначительность сокращений вызывают некоторые опасения. Впрочем, рано предсказывать. Все зависит от того, какие она будет вырабатывать потуги, когда начнутся роды. А это покажет будущее.

На другой день в ответ на его телефонный звонок подошедший к аппарату больничный сторож велел ему не вешать трубки, пошел справляться, протомил его минут десять и принес в грубой и несостоятельной форме следующие сведения: «Велено сказать, скажи, говорят, привез жену слишком рано, надо забирать обратно». Взбешенный Юрий Андреевич потребовал к телефону кого-нибудь более осведомленного. – «Симптомы обманчивы, – сказала ему сестра, – пусть доктор не тревожится, придется потерпеть сутки-другие».

На третий день он узнал, что роды начались ночью, на рассвете прошли воды и с утра не прекращаются сильные схватки.

Он сломя голову помчался в клинику и, когда шел по коридору, слышал через полуоткрытую по нечаянности дверь душераздирающие крики Тони, как кричат задавленные с отрезанными конечностями, извлеченные из-под колес вагона.

Ему нельзя было к ней. Закусив до крови согнутый в суставе палец, он отошел к окну, за которым лил тот же косой дождь, как вчера и позавчера.

Из палаты вышла больничная сиделка. Оттуда доносился писк новорожденного.

– Спасена, спасена, – радостно повторял про себя Юрий Андреевич.

– Сынок. Мальчик. С благополучным разрешением от бремени, – нараспев говорила сиделка. – Сейчас нельзя. Придет время – покажем. Тогда придется раскошелиться на родильницу. Намучилась. С первым. С первым завсегда мука.

– Спасена, спасена, – радовался Юрий Андреевич, не понимая того, что говорила сиделка, и того, что она своими словами зачисляла его в участники совершившегося, между тем как при чем он тут? Отец, сын – он не видел гордости в этом даром доставшемся отцовстве, он не чувствовал ничего в этом с неба свалившемся сыновстве. Все это лежало вне его сознания. Главное была Тоня, Тоня, подвергшаяся смертельной опасности и счастливо ее избежавшая.

У него был больной невдалеке от клиники. Он зашел к нему и через полчаса вернулся. Обе двери, из коридора в тамбур и дальше, из тамбура в палату, были опять приоткрыты. Сам не сознавая, что он делает, Юрий Андреевич прошмыгнул в тамбур.

Растопырив руки, перед ним как из-под земли вырос мастодонт-гинеколог в белом халате.

– Куда? – задыхающимся шепотом, чтобы не слышала родильница, остановил он его. – Что вы, с ума сошли? Раны, кровь, антисептика, не говоря уж о психическом потрясении. Хорош! А еще врач.

– Да разве я... Я только одним глазком. Отсюда. Сквозь щелку.

– А, это другое дело. Так и быть. Но чтобы мне!... Смотрите! Если заметит, убью, живого места не оставлю!

В палате спиной к двери стояли две женщины в халатах, акушерка и нянюшка. На нянюшкиной руке жилился писклявый и нежный человеческий отпрыск, стягиваясь и растягиваясь, как кусок темно-красной резины. Акушерка накладывала лигатуры на пуповину, чтобы отделить ребенка от последа. Тоня лежала посередине палаты на хирургической койке с подъемною доскою. Она лежала довольно высоко. Юрию Андреевичу, который все увеличивал от волнения, показалось, что она лежит примерно на уровне конторок, за которыми пишут стоя.

Поднятая к потолку выше, чем это бывает с обыкновенными смертными, Тоня тонула в парах выстраданного, она как бы дымилась от изнеможения. Тоня возвышалась посреди палаты, как высилась бы среди бухты только что причаленная и разгруженная барка, совершающая переходы через море смерти к материку жизни с новыми душами, переселяющимися сюда неведомо откуда. Она только что произвела высадку одной такой души и теперь лежала на якоре, отдыхая всей пустотой своих облегченных боков. Вместе с ней отдыхали

ее надломленные и натруженные снасти и обшивка, и ее забвение, ее угасшая память о том, где она недавно была, что переплыла и как причалила.

И так как никто не знал географии страны, под флагом которой она пришвартовалась, было неизвестно, на каком языке обратиться к ней.

На службе все наперерыв поздравляли его. Как быстро они узнали! – удивлялся Юрий Андреевич.

Он прошел в ординаторскую, которую называли кабаком и помойной ямой, потому что вследствие тесноты, вызванной загруженностью больницы, теперь в этой комнате раздевались, заходя в нее в калошах с улицы, забывали в ней посторонние предметы, занесенные из других помещений, сорили окурками и бумагой.

У окна ординаторской стоял обрюзгший прозектор и, подняв руки, рассматривал на свет поверх очков какую-то мутную жидкость в склянке.

– Поздравляю, – сказал он, продолжая смотреть в том же направлении и даже не удостоив Юрия Андреевича взглядом.

– Спасибо. Я тронут.

– Не стоит благодарности. Я тут ни при чем. Вскрывал Пичужкин. Но все поражены. Эхинококк. Вот это, говорят, диагност! Только и разговору.

В это время в комнату вошел главный врач больницы. Он поздоровался с обоими и сказал:

– Черт знает что. Проходной двор, а не ординаторская, что за безобразие! Да, Живаго, представьте – эхинококк! Мы были не правы. Поздравляю. И затем – неприятность. Опять пересмотр вашей категории. На этот раз отстоять вас не удастся. Страшная нехватка военно-медицинского персонала. Придется вам понюхать пороху.

6

Антиповы сверх ожидания очень хорошо устроились в Юрятине. Гишаров поминали тут добром. Это облегчило Ларе трудности, сопряженные с водворением на новом месте.

Лара вся была в трудах и заботах. На ней были дом и их трехлетняя девчурка Катенька. Как ни старалась рыжая Марфутка, прислуживавшая у Антиповых, ее помощь была недостаточна. Лариса Федоровна входила во все дела Павла Павловича. Она сама преподавала в женской гимназии. Лара работала не покладая рук и была счастлива. Это была именно та жизнь, о которой она мечтала.

Ей нравилось в Юрятине. Это был ее родной город. Он стоял на большой реке Рыньве, судоходной на своем среднем и нижнем течении, и находился на линии одной из уральских железных дорог.

Приближение зимы в Юрятине ознаменовывалось тем, что владельцы лодок поднимали их с реки на телегах в город. Тут их развозили по своим дворам, где лодки зимовали до весны под открытым небом. Перевернутые лодки, белеющие на земле в глубине дворов, означали в Юрятине то же самое, что в других местах осенний перелет журавлей или первый снег.

Такая лодка, под которою Катенька играла как под выпуклою крышею садового павильона, лежала белым крашеным дном вверх на дворе дома, арендованного Антиповыми.

Ларисе Федоровне по душе были нравы захолустья, по-северному окающая местная интеллигенция в валенках и теплых кацавейках из серой фланели, ее наивная доверчивость. Лару тянуло к земле и простому народу.

По странности как раз сын московского железнодорожного рабочего Павел Павлович оказался неисправимым столичным жителем. Он гораздо строже жены относился к юрятицам. Его раздражали их дикость и невежество.

Теперь задним числом выяснилось, что у него была необычайная способность приобретать и сохранять знания, почерпнутые из беглого чтения. Он уже и раньше, отчасти с помощью Лары, прочел очень много. За годы уездного уединения начитанность его так возросла, что уже и Лара казалась ему недостаточно знающей. Он был головою выше педагогической среды своих сослуживцев и жаловался, что он среди них задыхается. В это военное время ходовой их патриотизм, казенный и немного квасной, не соответствовал более сложным формам того же чувства, которое питал Антипов.

Павел Павлович кончил классиком. Он преподавал в гимназии латынь и древнюю историю. Но в нем, бывшем реалисте, вдруг проснулась заглушенная было страсть к математике, физике и точным наукам. Путем самообразования он овладел всеми этими предметами в университетском объеме. Он мечтал при первой возможности сдать по ним испытания при округе, переопределиться по какой-нибудь математической специальности и перевестись с семьей в Петербург. Усиленные ночные занятия расшатали здоровье Павла Павловича. У него появилась бессонница.

С женой у него были хорошие, но слишком непростые отношения. Она подавляла его своей добротой и заботами, а он не позволял себе критиковать ее. Он остерегался, как бы в невиннейшем его замечании не послышался ей какой-нибудь мнимо затаенный упрек, в том, например, что она белой, а он – черной кости, или в том, что до него она принадлежала другому. Боязнь, чтобы она не заподозрила его в какой-нибудь несправедливо-обидной бессмыслице, вносила в их жизнь искусственность. Они старались переблагородничать друг друга и этим все усложняли.

У Антиповых были гости, несколько педагогов – товарищей Павла Павловича, начальница Лариной гимназии, один участник третейского суда, на котором Павел Павлович тут однажды выступал примирителем, и другие. Все они, с точки зрения Павла Павловича, были набитые дураки и дуры. Он поражался Ларе, любезной со всеми, и не верил, чтобы кто-нибудь тут мог искренне нравиться ей.

Когда гости ушли, Лара долго проветривала, подметала комнаты, мыла с Марфуткою на кухне посуду. Потом, удостоверившись, что Катенька хорошо укрыта и Павел спит, быстро разделась, потушила лампу и легла рядом с мужем с естественностью ребенка, взятого в постель к матери.

Но Антипов притворялся, что спит, – он не спал. У него был припадок обычной за последнее время бессонницы. Он знал, что проваляется еще так без сна часа три-четыре. Чтобы нагулять себе сон и избавиться от оставленного гостями табачного чада, он тихонько встал и в шапке и шубе поверх нижнего белья вышел на улицу.

Была ясная осенняя ночь с морозом. Под ногами у Антипова звонко крошились хрупкие ледяные пластинки. Звездное небо, как пламя горящего спирта, озаряло голубым движущимся отсветом черную землю с комками замерзшей грязи.

Дом, в котором жили Антиповы, находился в части города, противоположной пристани. Дом был последним на улице. За ним начиналось поле. Его пересекала железная дорога. Близ линии стояла сторожка. Через рельсы был проложен переезд.

Антипов сел на перевернутую лодку и посмотрел на звезды. Мысли, к которым он привык за последние годы, охватили его с тревожной силой. Ему представилось, что их рано или поздно надо додумать до конца, и лучше это сделать сегодня.

Так дальше не может продолжаться, думал он. Но ведь все это можно было предвидеть раньше, он поздно хватился. Зачем позволяла она ему ребенком так заглядываться на себя и делала из него, что хотела? Отчего не нашлось у него ума вовремя отказаться от нее, когда она сама на этом настаивала зимою перед их свадьбой? Разве он не понимает, что она любит не его, а свою благородную задачу по отношению к нему, свой олицетворенный подвиг? Что общего между этой вдохновенной и похвальной миссией и настоящей семейной жизнью?

Хуже всего то, что он по сей день любит ее с прежнею силой. Она умопомрачительно хороша. А может быть, и у него это не любовь, а благодарная растерянность перед ее красотой и великодушием? Фу-ты, разберись-ка в этом! Тут сам черт ногу сломит.

Так что же в таком случае делать? Освободить Лару и Катеньку от этой подделки? Это даже важнее, чем освободиться самому. Да, но как? Развестись? Утопиться? «Фу, какая гадость, – возмутился он. – Ведь я никогда не пойду на это. Тогда зачем называть эти эффектные мерзости хотя бы в мыслях?»

Он посмотрел на звезды, словно спрашивая у них совета. Они мерцали, частые и редкие, крупные и мелкие, синие и радужно-переливчатые. Неожиданно их мерцание затмилось, и двор с домом, лодкою и сидящим на ней Антиповым озарился резким, мечущимся светом, словно кто-то бежал с поля к воротам, размахивая зажженным факелом. Это, выбрасывая в небо клубы желтого, огнем пронизанного дыма, шел мимо переезда на запад воинский поезд, как они без счета проходили тут днем и ночью начиная с прошлого года.

Павел Павлович улыбнулся, встал с лодки и пошел спать. Желаемый выход нашелся.

7

Лариса Федоровна обомлела и сначала не поверила своим ушам, когда узнала о Пашином решении. «Бессмыслица. Очередная причуда, – подумала она. – Не обращать внимания, и сам обо всем забудет».

Но выяснилось, что приготовлениям мужа уже две недели давности, бумаги в воинском присутствии, в гимназии имеется заместитель, и из Омска пришло извещение о его приеме в тамошнее военное училище. Подошли сроки его отъезда.

Лара завывала, как простая баба, и, хватая Антипова за руки, стала валяться у него в ногах.

– Паша, Пашенька, – кричала она, – на кого ты меня и Катеньку оставляешь? Не делай этого, не делай! Ничего не поздно. Я все исправлю. Да ты ведь толком и доктору-то не показывался. С твоим-то сердцем. Стыдно? А приносить семью в жертву какому-то сумасшествию не стыдно? Добровольцем! Всю жизнь смеялся над Родькой-пошляком и вдруг завидно стало! Самому захотелось саблей позвенеть, поофицерствовать. Паша, что с тобой, я не узнаю тебя! Подменили тебя, что ли, или ты белены объелся? Скажи мне на милость, скажи честно, ради Христа, без заученных фраз, это ли нужно России?

Вдруг она поняла, что дело совсем не в этом. Неспособная осмыслить частности, она уловила главное. Она угадала, что Патуля заблуждается насчет ее отношения к нему. Он не оценил материнского чувства, которое она всю жизнь подмешивает в свою нежность к нему, и не догадывается, что такая любовь больше обыкновенной женской.

Она закусила губы, вся внутренне съежилась, как побитая, и, ничего не говоря и молча плотая слезы, стала собирать мужа в дорогу.

Когда он уехал, ей показалось, что стало тихо во всем городе и даже в меньшем количестве стали летать по небу вороны. «Барыня, барыня», – безуспешно окликала ее Марфутка. «Мама, мамочка», – без конца лепетала Катенька, дергая ее за рукав. Это было серьезнейшее поражение в ее жизни. Лучшие, светлейшие ее надежды рухнули.

По письмам из Сибири Лара знала все о муже. Скоро у него наступило просветление. Он очень тосковал по жене и дочери. Через несколько месяцев Павла Павловича выпустили досрочно прапорщиком и так же неожиданно отправили с назначением в действующую армию. Он проехал в крайней экстренности далеко стороной мимо Юрятина и в Москве не имел времени с кем-либо повидаться.

Стали приходить его письма с фронта, более оживленные и не такие печальные, как из Омского училища. Антипову хотелось отличиться, чтобы в награду за какую-нибудь воен-

ную заслугу или в результате легкого ранения отпроситься в отпуск на свидание с семьей. Возможность выдвинуться представилась. Вслед за недавно совершенным прорывом, который стал впоследствии известен под именем Брусиловского, армия перешла в наступление. Письма от Антипова прекратились. Вначале это не беспокоило Лару. Пашино молчание она объясняла развивающимися военными действиями и невозможностью писать на маршах.

Осенью движение армии приостановилось. Войска окапывались. Но об Антипове по-прежнему не было ни слуху ни духу. Лариса Федоровна стала тревожиться и наводить справки, сначала у себя в Юрятине, а потом по почте в Москве и на фронте, по-прежнему полевому адресу Пашиной части. Нигде ничего не знали, ниоткуда не приходило ответа.

Как многие дамы-благотворительницы в уезде, Лариса Федоровна с самого начала войны оказывала посильную помощь в госпитале, развернутом при Юрятинской земской больнице.

Теперь она занялась серьезно начатками медицины и сдала при больнице экзамен на звание сестры милосердия.

В этом качестве она отпросилась на полгода со службы из гимназии, оставила квартиру в Юрятине на попечение Марфутки и с Катенькой на руках поехала в Москву. Тут она построила дочь у Липочки, муж которой, германский подданный Фризенданк, вместе с другими гражданскими пленными был интернирован в Уфе.

Убедившись в бесполезности своих розысков на расстоянии, Лариса Федоровна решила перенести их на место недавних происшествий. С этой целью она поступила сестрой на санитарный поезд, отправлявшийся через город Лиски в Мезо-Лаборч, на границу Венгрии. Так называлось место, откуда Паша написал ей свое последнее письмо.

8

На фронт в штаб дивизии пришел поезд-баня, оборудованный на средства жертвователей Татьянинским комитетом помощи раненым. В классном вагоне длинного поезда, составленного из коротких некрасивых теплушек, приехали гости, общественные деятели из Москвы, с подарками солдатам и офицерам. В их числе был Гордон. Он узнал, что дивизионный лазарет, в котором, по его сведениям, работал друг его детства Живаго, размещен в близлежащей деревне.

Гордон достал разрешение, необходимое для движения по прифронтовой зоне, и с пропуском в руках поехал навестить приятеля на отправлявшейся в ту сторону фурманке.

Возчик, белорус или литовец, плохо говорил по-русски. Страх шпиономании сводил все слова к одному казенному, наперед известному образцу. Показная благонамеренность бесед не располагала к разговорам. Большую часть пути едущий и возница молчали.

В штабе, где привыкли передвигать целые армии и мерили расстояния стоверстными переходами, уверяли, будто деревня где-то рядом, верстах в двадцати или двадцати пяти. На самом деле до нее оказалось больше восьмидесяти.

Всю дорогу в части горизонта, приходившейся налево к направлению их движения, недружелюбно урчало и погромыхивало. Гордон ни разу в жизни не был свидетелем землетрясения. Но он правильно рассудил, что угрюмое и за отдаленностью еле различимое брюзжание вражеской артиллерии более всего сравнимо с подземными толчками и гулами вулканического происхождения. Когда за вечерело, низ неба в той стороне вспыхнул розовым трепещущим огнем, который не потухал до самого утра.

Возница вез Гордона мимо разрушенных деревень. Часть их была покинута жителями. В других люди ютились в погребах глубоко под землею. Такие деревни представляли груды мусора и щебня, которые тянулись так же в линию, как когда-то дома. Эти сгоревшие селения были сразу обозримы из конца в конец, как пустыри без растительности. На их поверхности

копошились старухи погорелки, каждая на своем собственном пепелище, что-то откапывая в золе и все время куда-то припрятывая, и воображали себя укрытыми от посторонних взоров, точно вокруг них были прежние стены. Они встречали и провожали Гордона взглядом, как бы вопрошавшим, скоро ли опомнятся на свете и вернуться в жизни покой и порядок.

Ночью навстречу едущим попался разъезд. Им велели своротить с грунтовой дороги обратно и объезжать эти места кружным проселком. Возчик не знал новой дороги. Они часа два проплутали без толку. Перед рассветом путник с возницею приехали в селение, носившее требуемое название. В нем ничего не слыхали о лазарете. Скоро выяснилось, что в округе две одноименные деревни, эта и разыскиваемая. Утром они достигли цели. Когда Гордон проезжал околицей, издававшей запах аптекарской ромашки и йодоформа, он думал, что не будет заночевывать у Живаго, а, проведя день в его обществе, вечером выедет назад на железнодорожную станцию к оставшимся товарищам. Обстоятельства задержали его тут больше недели.

9

В эти дни фронт зашевелился. На нем происходили внезапные перемены. К югу от местности, в которую заехал Гордон, одно из наших соединений удачной атакой отдельных составлявших его частей прорвало укрепленные позиции противника. Развивая свой удар, группа наступающих все глубже врезалась в его расположение. За нею следовали вспомогательные части, расширявшие прорыв. Постепенно отставая, они оторвались от головной группы. Это повело к ее пленению. В этой обстановке взят был в плен прапорщик Антипов, вынужденный к этому сдачею своей полуроты.

О нем ходили превратные слухи. Его считали погибшим и засыпанным землею во взрывной воронке. Так передавали со слов его знакомого, подпоручика одного с ним полка Галиуллина, якобы видевшего его гибель в бинокль с наблюдательного пункта, когда Антипов шел со своими солдатами в атаку.

Перед глазами Галиуллина было привычное зрелище атакующей части. Ей предстояло пройти быстрыми шагами, почти бегом, разделявшее обе армии осеннее поле, поросшее качающейся на ветру сухою полынью и неподвижно торчащим кверху колючим будяком. Дерзостью своей отваги атакующие должны были выманить на штыки себе или забросать гранатами и уничтожить засевших в противоположных окопах австрийцев. Поле казалось бегущим бесконечным. Земля ходила у них под ногами, как зыбкая болотная почва. Сначала впереди, а потом вперемежку вместе с ними бежал их прапорщик, размахивая над головой револьвером и крича во весь до ушей разодранный рот «ура», которого ни он, ни бежавшие вокруг солдаты не слыхали. Через правильные промежутки бежавшие ложились на землю, разом подымались на ноги и с возобновленными криками бежали дальше. Каждый раз вместе с ними, но совсем по-другому, нежели они, падали во весь рост, как высокие деревья при валке леса, отдельные подбитые и больше не вставали.

– Перелеты. Телефонуйте на батарею, – сказал встревоженный Галиуллин стоявшему рядом артиллерийскому офицеру. – Да нет. Они правильно делают, что перенесли огонь поглубже.

В это время атакующие подошли на сближение с неприятелем. Огонь прекратили. В наставшей тишине у стоявших на наблюдательном заколотились сердца явственно и часто, словно они были на месте Антипова и, как он, подводя людей к краю австрийской щели, в следующую минуту должны были выказать чудеса находчивости и храбрости. В это мгновение впереди один за другим взорвались два немецких шестнадцатидюймовых снаряда. Черные столбы земли и дыма скрыли все последующее.

– Йэ алла! Готово! Кончал базар! – побледневшими губами прошептал Галиуллин, считая прапорщика и солдат погибшими.

Третий снаряд лег совсем около наблюдательного. Низко пригибаясь к земле, все поспешили убраться с него подальше.

Галиуллин спал в одном блиндаже с Антиповым. Когда в полку примирились с мыслью, что он убит и больше не вернется, Галиуллину, хорошо знавшему Антипова, поручили взять на хранение его имущество для передачи в будущем его жене, фотографические карточки которой во множестве попадались среди вещей Антипова.

Недавний прапорщик из вольноопределяющихся, механик Галиуллин, сын дворника Гимазетдина с тиверзинского двора и в далеком прошлом – слесарский ученик, которого избивал мастер Худолеев, своим возвышением обязан был своему бывшему истязателю.

Выйдя в прапорщики, Галиуллин неизвестно как и помимо своей воли попал на теплое и укромное место в один из тыловых захолустных гарнизонов. Там он распоряжался командой полуинвалидов, с которыми такие же дряхлые инструктора-ветераны по утрам проходили забытый ими строй. Кроме того, Галиуллин проверял, правильно ли они расставляют караулы у интендантских складов. Это было беззаботное житье – больше ничего от него не требовалось. Как вдруг вместе с пополнением, состоявшим из ополченцев старых сроков и поступившим из Москвы в его распоряжение, прибыл слишком хорошо ему известный Петр Худолеев.

– А, старые знакомые! – проговорил, хмуро усмехаясь, Галиуллин.

– Так точно, ваше благородие, – ответил Худолеев, стал во фронт и откозырял.

Так просто это не могло кончиться. При первой же строевой оплошности прапорщик наорал на нижнего чина, а когда ему показалось, что солдат смотрит не прямо во все глаза на него, а как-то неопределенно в сторону, хрюнул его по зубам и отправил на двое суток на хлеб и на воду на гауптвахту.

Теперь каждое движение Галиуллина пахло отместкою за старое. А сводить счета таким способом в условиях палочной субординации было игрой слишком беспроегрышной и неблагородной. Что было делать? Остаться обоим в одном месте было дальше невозможно. Но под каким предлогом и куда мог офицер переместить солдата из назначенной ему части, кроме отдачи его в дисциплинарную? С другой стороны, какие основания мог придумать Галиуллин для просьбы о собственном переводе? Оправдываясь скукой и бесполезностью гарнизонной службы, Галиуллин отпросился на фронт. Это зарекомендовало его с хорошей стороны, а когда в ближайшем деле он показал другие свои качества, выяснилось, что это отличный офицер, и он быстро был произведен из прапорщика в подпоручики.

Галиуллин знал Антипова с тиверзинских времен. В девятьсот пятом году, когда Паша Антипов полгода прожил у Тиверзиных, Юсупка ходил к нему в гости и играл с ним по праздникам. Тогда же он раз или два видел у них Лару. С тех пор он ничего о них не слышал. Когда в их полк попал Павел Павлович из Юрятина, Галиуллин поражен был происшедшею со старым приятелем переменой. Из застенчивого, похожего на девушку и смешливого чистюли шалуна вышел нервный, все на свете знающий, презрительный ипохондрик. Он был умен, очень храбр, молчалив и насмешлив. Временами, глядя на него, Галиуллин готов был поклясться, что видит в тяжелом взгляде Антипова, как в глубине окна, кого-то второго, прочно засевшую в нем мысль, или тоску по дочери, или лицо его жены. Антипов казался заколдованным, как в сказке. И вот его не стало, и на руках у Галиуллина остались бумаги и фотографии Антипова и тайна его превращения.

Рано или поздно до Галиуллина должны были дойти Ларины запросы. Он собрался ответить ей. Но было горячее время. Ответить по-настоящему он был не в силах. А ему хотелось подготовить ее к ожидавшему ее удару. Так он все откладывал большое обстоятельное

письмо к ней, пока не узнал, будто она сама где-то на фронте, сestroю. И было неизвестно, куда адресовать ей теперь письмо.

10

– Ну как? Будут сегодня лошади? – спрашивал Гордон доктора Живаго, когда тот приходил днем домой обедать в галицийскую избу, в которой они стояли.

– Да какие там лошади? И куда ты поедешь, когда ни вперед, ни назад? Кругом страшная путаница. Никто ничего не понимает. На юге мы обошли или прорвали немцев в нескольких местах, причем, говорят, несколько наших распыленных единиц попали при этом в мешок, а на севере немцы перешли Свенту, считавшуюся в этом месте непроходимой. Это кавалерия численностью до корпуса. Они портят железные дороги, уничтожают склады и, по-моему, окружают нас. Видишь, какая картина. А ты говоришь – лошади. Ну, живее, Карпенко, накрывай и поворачивайся. Что у нас сегодня? А, телячьи ножки. Великолепно.

Санитарная часть с лазаретом и всеми подведомственными отделами была разбросана по деревне, которая чудом уцелела. Дома ее, поблескивавшие на западный манер узкими многостворчатыми окнами во всю стену, были до последнего сохранены.

Стояло бабье лето, последние ясные дни жаркой золотой осени. Днем врачи и офицеры растворяли окна, били мух, черными роями ползавших по подоконникам и белой оклейке низких потолков, и, расстегнув кителя и гимнастерки, обливались потом, обжигаясь горячими щами или чаем, а ночью садились на корточки перед открытыми печными заслонками, раздували потухающие угли под неразгорающимися сырыми дровами и со слезящимися от дыма глазами ругали денщиков, не умеющих топить по-человечески.

Была тихая ночь. Гордон и Живаго лежали друг против друга на лавках у двух противоположных стен. Между ними был обеденный стол и длинное, узенькое, от стены к стене тянувшееся окно. В комнате было жарко натоплено и накурено. Они открыли в окне две крайние оконницы и вдыхали ночную осеннюю свежесть, от которой потели стекла.

По обыкновению они разговаривали, как все эти дни и ночи. Как всегда, розовато пламенел горизонт в стороне фронта, и когда в ровную, ни на минуту не прекращавшуюся воркотню обстрела падали более низкие, отдельно отличимые и увесистые удары, как бы сдвигающие почву чуть-чуть в сторону, Живаго прерывал разговор из уважения к звуку, выдерживал паузу и говорил:

– Это «берта», немецкое шестнадцатидюймовое, в шестьдесят пудов весом штучка, – и потом возобновлял беседу, забывая, о чем был разговор.

– Чем это так все время пахнет в деревне? – спрашивал Гордон. – Я с первого дня заметил. Так слащаво-приторно и противно. Как мышами.

– А, я знаю, о чем ты. Это – конопля. Тут много конопляников. Конопля сама по себе издает томящий и назойливый запах падали. Кроме того, в районе военных действий, когда в коноплю заваливаются убитые, они долго остаются необнаруженными и разлагаются. Трупный запах очень распространен здесь, это естественно. Опять «берта». Ты слышишь?

В течение этих дней они переговаривали обо всем на свете. Гордон знал мысли приятеля о войне и о духе времени. Юрий Андреевич рассказал ему, с каким трудом он привыкал к кровавой логике взаимоистребления, к виду раненых, в особенности к ужасам некоторых современных ранений, к изуродованным выживающим, превращенным нынешнею техникой боя в куски обезображенного мяса.

Каждый день Гордон куда-нибудь попадал, сопровождая Живаго, и благодаря ему что-нибудь видел. Он, понятно, сознавал всю безнравственность праздного разглядывания чужого мужества и того, как другие нечеловеческим усилием воли побеждают страх смерти и чем при этом жертвуют и как рискуют. Но бездеятельные и беспоследственные вздохи по

этому поводу казались ему ничуть не более нравственными. Он считал, что нужно вести себя сообразно положению, в которое ставит тебя жизнь, честно и естественно.

Что от вида раненых можно упасть в обморок, он проверил на себе при поездке в летучий отряд Красного Креста, который работал к западу от них, на полевом перевязочном пункте почти у самых позиций.

Они приехали на опушку большого леса, наполовину срезанного артиллерийским огнем. В поломанном и вытоптанном кустарнике валялись вверх тормашками разбитые и покореженные орудийные передки. К дереву была привязана верховая лошадь. С деревянной постройки лесничества, видневшейся в глубине, была снесена половина крыши. Перевязочный пункт помещался в конторе лесничества и в двух больших серых палатках, разбитых через дорогу от лесничества, посреди леса.

– Напрасно я взял тебя сюда, – сказал Живаго. – Окопы совсем рядом, верстах в полутора или двух, а наши батареи вон там, за этим лесом. Слышишь, что творится? Не изображай, пожалуйста, героя – не поверю. У тебя душа теперь в пятках, и это естественно. Каждую минуту может измениться положение. Сюда будут залетать снаряды.

На земле у лесной дороги, раскинув ноги в тяжелых сапогах, лежали на животах и спинах запыленные и усталые молодые солдаты в пропотевших на груди и лопатках гимнастерках – остаток сильно поредевшего отделения. Их вывели из продолжающегося четвертые сутки боя и отправляли в тыл на короткий отдых. Солдаты лежали как каменные, и у них не было сил улыбаться и сквернословить, и никто не повернул головы, когда в глубине леса на дороге загромыхало несколько быстро приближающихся таратаек. Это на рысях, в безрессорных тачанках, которые подсакивали кверху и доламывали несчастным кости и выворачивали внутренности, подвозили раненых к перевязочному пункту, где им подавали первую помощь, наспех бинтовали и в некоторых, особо экстренных, случаях оперировали на скорую руку. Всех их полчаса тому назад, когда огонь стих на короткий промежуток, в ужасающем количестве вынесли с поля перед окопами. Добрая половина их была без сознания. Когда их подвезли к крыльцу конторы, с него спустились санитары с носилками и стали разгружать тачанки. Из палатки, придерживая ее полости снизу рукою, выглянула сестра милосердия. Это была не ее смена. Она была свободна. В лесу за палатками громко бранились двое. Свежий высокий лес гулко разносил отголоски их спора, но слов не было слышно. Когда привезли раненых, спорящие вышли на дорогу, направляясь к конторе. Горячий офицер кричал на врача летучего отряда, стараясь добиться от него, куда переехал ранее стоявший тут в лесу артиллерийский парк. Врач ничего не знал, это его не касалось. Он просил офицера отстать и не кричать, потому что привезли раненых и у него есть дело, а офицер не унимался и разносил Красный Крест и артиллерийское ведомство и всех на свете. К врачу подошел Живаго. Они поздоровались и поднялись в лесничество. Офицер с чуть-чуть татарским акцентом, продолжая громко ругаться, отвязал лошадь от дерева, вскочил на нее и ускакал по дороге в глубину леса. А сестра все смотрела и смотрела.

Вдруг лицо ее исказилось от ужаса.

– Что вы делаете? Вы с ума сошли, – крикнула она двум легкораненым, которые шли без посторонней помощи между носилками на перевязку, и, выбежав из палатки, бросилась к ним на дорогу.

На носилках несли несчастного, особенно страшно и чудовищно изуродованного. Дно разорвавшегося стакана, разворотившего ему лицо, превратившего в кровавую кашу его язык и зубы, но не убившего его, засело у него в раме челюстных костей, на месте вырванной щеки. Тоненьким голоском, непохожим на человеческий, изувеченный испускал короткие, обрывающиеся стоны, которые каждый должен был понять как мольбу поскорее прикончить его и прекратить его невыносимо затянувшиеся мучения.

Сестре милосердия показалось, что под влиянием его стонов шедшие рядом легкораненые собираются голыми руками тащить из его щеки эту страшную железную занозу.

– Что вы, разве можно так? Это хирург сделает, особыми инструментами. Если только придется. (Боже, Боже, приberi его, не заставляй меня сомневаться в твоём существовании!)

В следующую минуту при поднятии на крыльцо изуродованный вскрикнул, содрогнулся всем телом и испустил дух.

Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин, кричавший в лесу офицер – его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго – свидетели, все они были вместе, все были рядом, и одни не узнали друг друга, другие не знали никогда, и одно осталось навсегда неустановленным, другое стало ждать обнаружения до следующего случая, до новой встречи.

11

В этой полосе чудесным образом сохранились деревни. Они составляли необъяснимо уцелевший островок среди моря разрушений. Гордон и Живаго возвращались вечером домой. Садилось солнце. В одной из деревень, мимо которой они проезжали, молодой казак при дружном хохоте окружающих подбрасывал кверху медный пятак, заставляя старого седобородого еврея в длинном сюртуке ловить его. Старик неизменно упускал монету. Пятак, пролетев мимо его жалко растопыренных рук, падал в грязь. Старик нагибался за медяком, казак шлепал его при этом по заду, стоявшие кругом держались за бока и стонали от хохота. В этом и состояло все развлечение. Пока что оно было безобидно, но никто не мог поручиться, что оно не примет более серьезного оборота. Из-за противоположной избы выбегала на дорогу, с криками протягивала руки к старику и каждый раз вновь боязливо скрывалась его старуха. В окно избы смотрели на дедушку и плакали две девочки.

Ездовой, которому все это показалось чрезвычайно утомительным, повел лошадей шагом, чтобы дать время господам позабавиться. Но Живаго, подозвав казака, выругал его и велел прекратить глумление.

– Слушаюсь, ваше благородие, – с готовностью ответил тот. – Мы ведь не знавши, только так, для смеха.

Всю остальную дорогу Гордон и Живаго молчали.

– Это ужасно, – начал в виду их собственной деревни Юрий Андреевич. – Ты едва ли представляешь себе, какую чашу страданий испило в эту войну несчастное еврейское население. Ее ведут как раз в черте его вынужденной оседлости. И за изведенное, за перенесенные страдания, поборы и разорение ему еще вдобавок платят погромами, издевательствами и обвинением в том, что у этих людей недостаточно патриотизма. А откуда быть ему, когда у врага они пользуются всеми правами, а у нас подвергаются одним гонениям. Противоречива самая ненависть к ним, ее основа. Раздражает как раз то, что должно было бы трогать и располагать. Их бедность и скученность, их слабость и неспособность отражать удары. Непонятно. Тут что-то роковое.

Гордон ничего не отвечал ему.

12

И вот опять они лежали по обе стороны длинного узкого окна, была ночь, и они разговаривали.

Живаго рассказывал Гордону, как он видел на фронте государя. Он хорошо рассказывал.

Это было в его первую весну на фронте. Штаб части, к которой он был прикомандирован, стоял в Карпатах, в котловине, вход в которую со стороны Венгерской долины запирала эта войсковая часть.

На дне котловины была железнодорожная станция. Живаго описывал Гордону внешний вид местности, горы, поросшие могучими елями и соснами, с белыми клоками зацепившихся за них облаков и каменными отвесами серого шифера и графита, которые проступали среди лесов, как голые проплешины, вытертые в густой шкуре. Было сырое, серое, как этот шифер, темное апрельское утро, отовсюду спертые высотами и оттого неподвижное и душное. Парило. Пар стоял над котловиной, и все курилось, все струями дыма тянулось вверх – паровозный дым со станции, серая испарина лугов, серые горы, темные леса, темные облака.

В те дни государь объезжал Галицию. Вдруг стало известно, что он посетит часть, расположенную тут, шефом которой он состоял.

Он мог прибыть с минуты на минуту. На перроне выставили почетный караул для его встречи. Прошли час или два томительного ожидания. Потом быстро один за другим прошли два свитских поезда. Спустя немного подошел царский.

В сопровождении великого князя Николая Николаевича государь обошел выстроившихся гренадер. Каждым слогом своего тихого приветствия он, как расплескавшуюся воду в качающихся ведрах, поднимал взрывы и всплески громоподобно прокатывавшегося «ура».

Смущенно улыбавшийся государь производил впечатление более старого и опустившегося, чем на рублях и медалях. У него было вялое, немного отекавшее лицо. Он поминутно виновато косился на Николая Николаевича, не зная, что от него требуется в данных обстоятельствах, и Николай Николаевич, почтительно наклоняясь к его уху, даже не словами, а движением брови или плеча выводил его из затруднения.

Царя было жалко в это серое и теплое горное утро, и было жутко при мысли, что такая боязливая сдержанность и застенчивость могут быть сущностью притеснителя, что этою слабостью казнят и милуют, вяжут и решают.

– Он должен был произнести что-нибудь такое вроде: я, мой меч и мой народ, как Вильгельм, или что-нибудь в этом духе. Но обязательно про народ, это непременно. Но, понимаешь ли ты, он был по-русски естественен и трагически выше этой пошлости. Ведь в России немыслима эта театральщина. Потому что ведь это театральщина, не правда ли? Я еще понимаю, чем были народы при Цезаре, галлы там какие-нибудь, или свевы, или иллирийцы. Но ведь с тех пор это только выдумка, существующая для того, чтобы о ней произносили речи цари, и деятели, и короли: народ, мой народ.

Теперь фронт наводнен корреспондентами и журналистами. Записывают «наблюдения», изречения народной мудрости, обходят раненых, строят новую теорию народной души. Это своего рода новый Даль, такой же выдуманный, лингвистическая графомания словесного недержания. Это один тип. А есть еще другой. Отрывистая речь, «штрихи и сценки», скептицизм, мизантропия. К примеру, у одного (я сам читал) такие сентенции: «Серый день, как вчера. С утра дождь, слякоть. Гляжу в окно на дорогу. По ней бесконечной вереницей тянутся пленные. Везут раненых. Стреляет пушка. Снова стреляет, сегодня, как вчера, завтра, как сегодня, и так каждый день и каждый час...» Ты подумай только, как проникательно и остроумно! Однако почему он обижается на пушку? Какая странная претензия требовать от пушки разнообразия! Отчего вместо пушки лучше не удивится он самому себе, изо дня в день стреляющему перечислениями, запятыми и фразами, отчего не прекратит стрельбы журнальным человеколюбием, торопливым, как прыжки блохи? Как он не понимает, что это он, а не пушка, должен быть новым и не повторяться, что из блокнотного накапливания большого количества бессмыслицы никогда не может получиться смысла, что фактов нет, пока человек не внес в них чего-то своего, какой-то доли вольничавшего человеческого гения, какой-то сказки.

– Поразительно верно, – прервал его Гордон. – Теперь я тебе отвечу по поводу сцены, которую мы сегодня видали. Этот казак, глумившийся над бедным патриархом, равно как и тысячи таких же случаев, это, конечно, примеры простейшей низости, по поводу которой не философствуют, а бьют по морде, дело ясно. Но к вопросу о евреях в целом философия приложима, и тогда она оборачивается неожиданной стороной. Но ведь тут я не скажу тебе ничего нового. Все эти мысли у меня, как и у тебя, от твоего дяди.

Что такое народ? – спрашиваешь ты. Надо ли нянчиться с ним и не больше ли делает для него тот, кто, не думая о нем, самую красотой и торжеством своих дел увлекает его за собой во всенародность и, прославив, увековечивает? Ну конечно, конечно. Да и о каких народах может быть речь в христианское время? Ведь это не просто народы, а обращенные, претворенные народы, и все дело именно в превращении, а не в верности старым основаниям. Вспомним Евангелие. Что оно говорило на эту тему? Во-первых, оно не было утверждением: так-то, мол, и так-то. Оно было предложением наивным и несмелым. Оно предлагало: хотите существовать по-новому, как не бывало, хотите блаженства духа? И все приняли предложение, захваченные на тысячелетия.

Когда оно говорило: в царстве Божиим нет эллина и иудея, – только ли оно хотело сказать, что перед Богом все равны? Нет, для этого оно не требовалось, это знали до него философы Греции, римские моралисты, пророки Ветхого завета. Но оно говорило: в том сердце задуманном новом способе существования и новом виде общения, которое называется царством Божиим, нет народов, есть личности.

Вот ты говорил, факт бессмысленен, если в него не внести смысла. Христианство, мистерия личности и есть именно то самое, что надо внести в факт, чтобы он приобрел значение для человека.

И мы говорили о средних деятелях, ничего не имеющих сказать жизни и миру в целом, о второразрядных силах, заинтересованных в узости, в том, чтобы все время была речь о каком-нибудь народе, предпочтительно малом, чтобы он страдал, чтобы можно было судить и рядить и наживаться на жалости. Полная и безраздельная жертва этой стихии – еврейство. Национальной мыслью возложена на него мертвящая необходимость быть и оставаться народом и только народом в течение веков, в которые силою, вышедшей некогда из его рядов, весь мир избавлен от этой принижающей задачи. Как это поразительно! Как это могло случиться? Этот праздник, это избавление от чертовщины посредственности, этот взлет над скудоумием будней, все это родилось на их земле, говорило на их языке и принадлежало к их племени. И они видели и слышали это и это упустили? Как могли они дать уйти из себя душе такой поглощающей красоты и силы, как могли думать, что рядом с ее торжеством и воцарением они останутся в виде пустой оболочки этого чуда, им однажды сброшенной. В чьих выгодах это добровольное мученичество, кому нужно, чтобы веками покрывалось осмеянием и истекало кровью столько ни в чем не повинных стариков, женщин и детей, таких тонких и способных к добру и сердечному общению! Отчего так лениво-бездарны пишущие народолюбцы всех народностей? Отчего властители дум этого народа не пошли дальше слишком легко дающихся форм мировой скорби и иронизирующей мудрости? Отчего, рискуя разорваться от неотменимости своего долга, как рвутся от давления паровые котлы, не распустили они этого, неизвестно за что борющегося и за что избиваемого отряда? Отчего не сказали: «Опомнитесь. Довольно. Больше не надо. Не называйтесь, как раньше. Не сбивайтесь в кучу, разойдитесь. Будьте со всеми. Вы первые и лучшие христиане мира. Вы именно то, чему вас противопоставляли самые худшие и слабые из вас».

13

На другой день, придя к обеду, Живаго сказал:

– Вот тебе не терпится уехать, вот ты и накликал. Не могу сказать «твое счастье», ибо какое же это счастье, что нас опять теснят или поколотили? Дорога на восток свободна, а с запада нас жмут. Приказ всем военно-санитарным учреждениям сворачиваться. Снимаемся завтра или послезавтра. Куда – неизвестно. А белье Михаила Григорьевича, Карпенко, конечно, не стирано. Вечная история. Кума, кума, а спроси его толком, какая это кума, так он сам не знает, болван.

Он не слушал, что плел в свое оправдание денщик-санитар, и не обращал внимания на Гордона, огорченного тем, что он заносил живаговское белье и уезжает в его рубашке. Живаго продолжал:

– Эх, походное наше житье, цыганское кочевье. Когда сюда въезжали, все было не по мне – и печь не тут, и низкий потолок, и грязь, и духота. А теперь, хоть убей, не могу вспомнить, где мы до этого стояли. И, кажется, век бы тут прожил, глядя на этот угол печи с солнцем на изразцах и движущейся по ней тенью придорожного дерева.

Они стали не торопясь укладываться.

Ночью их разбудили шум и крики, стрельба и беготня. Деревня была зловеще озарена. Мимо окна мелькали тени. За стеной проснулись и задвигались хозяева.

– Сбегай на улицу, Карпенко, спроси, по какому случаю содом, – сказал Юрий Андреевич.

Скоро все стало известно. Сам Живаго, наскоро одевшись, ходил в лазарет, чтобы проверить слухи, которые оказались правильными. Немцы сломили на этом участке сопротивление. Линия обороны передвинулась ближе к деревне и все приближалась. Деревня была под обстрелом. Лазарет и учреждения спешно вывозили, не дожидаясь приказа об эвакуации. Все предполагали закончить до рассвета.

– Ты поедешь с первым эшелоном, линейка сейчас отходит, но я сказал, чтобы тебя подождали. Ну, прощай. Я провожу тебя и посмотрю, как тебя усадят.

Они бежали на другой конец деревни, где снаряжали отряд. Пробегая мимо домов, они нагибались и прятались за их выступами. По улице пели и жужжали пули. С перекрестков, пересекаемых дорогами в поле, было видно, как над ним зонтами пламени раскидывались разрывы шрапнели.

– А ты как же? – на бегу спрашивал Гордон.

– Я потом. Надо будет еще вернуться домой, за вещами. Я со второй партией.

Они простились у околицы. Несколько телег и линейка, из которых состоял обоз, двинулись, наезжая друг на друга и постепенно выравниваясь. Юрий Андреевич помахал рукой уезжающему товарищу. Их освещал огонь загоревшегося сарая.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.